



ЛУИ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

де БЕРНЬЕР

МАНДОЛИНА КАПИТАНА КОРЕЛЛИ

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Луи де Берньер

Мандолина капитана Корелли

Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=290552

Мандолина капитана Корелли : [роман] / Луи де Берньер : АСТ; Москва;

2018

ISBN 978-5-17-107597-2

Аннотация

Древний остров Кефалония помнит многих воинов: хитроумного Одиссея и его соратников-ахейцев, гордых эллинов на триерах, римлян с их железной поступью, искушенных в интригах византийцев, жестоких турецких поработителей...

И теперь под оливы Кефалонии, где жизнь текла мирно и весело, как горный ручеек, снова пришла война. Страшная, беспощадная Вторая мировая.

Итальянские войска оккупировали остров, и уютный мир кефалонийцев распался на «до» и «после».

Таков фон, на котором предстоит разыгаться истории итальянского капитана Антонио Корелли и юной дочери местного врача Пелагии.

Истории страстной, всепоглощающей любви, которую мужчине и женщине суждено пронести через всю жизнь и через все выпавшие на их долю испытания тяжких военных лет.

Содержание

1. Доктор Яннис начинает свою «Историю» и расстраивается	6
2. Duce[4]	19
3. Силач	34
4. L'omosessuale[29] (1)	44
5. Человек, который сказал «нет»	49
6. L'omosessuale (2)	59
7. Крайние средства	69
8. Смешная такая кошечка	82
9. 15 августа 1940 года	93
10. L'omosessuale (3)	105
11. Пелагия и Мандрас	116
12. Все чудеса святого	128
13. Исступление	148
14. Грацци	163
15. L'omosessuale (4)	174
16. Письма Мандрасу на фронт	186
Конец ознакомительного фрагмента.	191

Луи де Берньер

Мандолина

капитана Корелли

*Моим матери и отцу,
которые в разных местах и разными способами
сражались против фашистов и нацистов, потеряли
многих ближайших друзей и не получили никакой
благодарности*

Солдат

Холодной тропею безмолвного мира
Ладные парни шагают в строю.
Ни смеха, ни звука. Приказ командира —
Занять оборону в умолкшем краю.

Их юность загублена, ей не цвести.
Любили, надеялись, жили напрасно.
И тонкому воздуху слов не снести,
Бездонное небо темно и ненастно.

Неслышно ступают по облачной тверди,
Во взорах печальных один лишь вопрос:
Ужель рассмеются в лицо подлой смерти,

Кто жизнь нашу в жертву бездумно принес?

На карте не сыщешь холодного поля,
И юноши рядом идут, как в строю.
Утешьтесь, солдаты, покоем без боли,
Коль счастье неведомо в тихом раю.

Хамберт Вулф

1. Доктор Яннис начинает свою «Историю» и расстраивается

Доктор Яннис провел неплохой день – никто из его пациентов не умер, и никому не стало хуже. Он присутствовал при удивительно легком отёле, вскрыл один абсцесс, удалил коренной зуб, прописал некой даме легкого поведения дозу «сальварсана», поставил малоприятную, но зримо плодотворную клизму и, проявив ловкость рук, сотворил чудо врачевания.

Он усмехнулся про себя: никакого сомнения – чудо это уже расхваливают как достойное самого святого Герасима. Доктора вызвали к старику Стаматису – тот жаловался на боль в ухе, – и доктор заглянул в ушное отверстие, промозглое, заросшее лишайником и сталагмитами больше, чем Дрогаратская пещера. Врачевание он начал с того, что вычистил лишайник с помощью намотанного на конец длинной спички кусочка ваты, смоченной в спирте. Доктор знал, что старик Стаматис с детства глух на это ухо, и оно у него постоянно болит, но все равно удивился, когда в глубине этого мохнатого прохода кончик спички наткнулся на что-то твердое и неподатливое; присутствие инородного тела невозможно было объяснить ни физиологией, ни анатомией. Он подвел старика к окну, распахнул ставни, и ворвавшиеся полу-

денный зной и свет мгновенно заполнили комнату лучезарным сиянием, словно какой-то настойчивый и чересчур осиянный ангел по ошибке выбрал это место для Богоявления. Жена старого Стаматиса крикнула: не порядок это – впускать так много света в дом в такой час. Ну так и есть – пыль тревожили, вон они, пылинки-то, прямо летают по всей комнате.

Доктор Яннис наклонил старику голову и взгляделся в ухо. Длинной спичкой раздвинул заросли жестких седых волос в шелухе перхоти. Внутри было что-то похожее на шарик. Доктор поскреб его поверхность, чтобы удалить налет темно-коричневой едкой серы, и увидел горошину. Несомненно, это горошина – светло-зеленая, чуть сморщенная. Никакого сомнения.

– Ты засовывал что-нибудь в ухо? – строго спросил доктор.

– Да вроде только палец, – ответил Стаматис.

– А как давно ты глух на это ухо?

– Сколько помню себя.

В воображении доктора Янниса возникла нелепая картинка. Он представил Стаматиса ребенком: только-только научился ходить, но физиономия – такая же бугристая, такой же сутулый и с такими же волосатыми ушами; вот он карабкается на кухонный стол и берет с деревянного блюда сушеную горошину. Засовывает ее в рот, понимает, что она слишком твердая, не раскусить, и запихивает ее в ухо.

Доктор усмехнулся:

– В детстве ты, наверное, был большим шалуном?

– Сущий бесенок.

– Молчи, женщина, ты меня тогда не знала.

– Мне твоя матушка рассказывала, упокой Господь ее душу, – ответила старуха, поджав губы и сложив на груди руки, – и сестры твои говорили.

Доктор Яннис раздумывал. Горошина, несомненно, давно окаменела, сидит слишком глубоко – так просто ее не вытащить.

– У тебя есть рыболовный крючок, примерно под кефаль, с длинным цевьем? И легкий молоточек?

Пара переглянулась с одинаковой мыслью: их доктор, должно быть, спятил.

– А при чем тут мое больное ухо? – подозрительно спросил Стаматис.

– У тебя чрезмерная аудиторная непроходимость, – ответил доктор, хорошо зная, что нужно подпустить этакой врачебной таинственности, и прекрасно понимая, что «горошина в ухе» вряд ли принесет ему вознаграждение.

– Я могу удалить ее рыболовным крючком и молоточком – это идеальный способ преодоления *un embarras de petits pois*¹. – Он произносил французские слова в жеманной парижской манере, хотя ирония была понятна ему одному.

Крючок и молоток немедленно доставили, и доктор акку-

¹ Помеха в виде горошинки (фр.).

ратно выпрямил крючок на каменных плитах пола. Затем позвал старика и велел ему положить голову на подоконник, где больше света. Стаматис лег, вращая глазами, а старуха прикрыла лицо руками, глядя сквозь пальцы.

– Поскорее, доктор! – воскликнул Стаматис. – На этом подоконнике жарче, чем в пекле.

Доктор осторожно вставил выпрямленный крючок в косматое отверстие и поднял молоток, но застыл от хриплого пронзительного крика – будто ворона закаркала. Ошеломленная старуха в ужасе заламывала руки и причитала:

– О-о-о-о, ты хочешь вогнать крючок ему в мозги! Господи милосердный, святые угодники и Мария, заступитесь за нас!

Доктор помедлил – он сообразил, что если горошина очень затвердела, вполне вероятно, жало крючка не проткнет ее, а загонит еще глубже. Можно даже порвать барабанную перепонку. Он выпрямился и задумчиво покрутил кончик седого уса.

– Меняем план, – объявил он. – По дальнейшем размышлении я решил, что лучше будет наполнить ухо водой и тем самым смягчить излишнюю окклюзию. Кирия², вы должны держать это ухо в теплой воде до вечера, пока я не вернусь. Не позволяйте пациенту двигаться, пусть лежит на боку с полным ухом. Это понятно?

Доктор Яннис вернулся в шесть часов и успешно подце-

² Сударыня (греч.).

пил размякшую горошину без всякого молотка. Он проделал это довольно ловко и преподнес горошину на освидетельствование паре. Никто из них не опознал ее, покрытую жирной темной серой, противную и вонючую, как нечто бобовое.

– Изрядная фасолинка, верно? – спросил доктор.

Старуха кивнула, будто что-то действительно поняла, но в ее глазах вспыхнуло изумление. Стаматис похлопал рукой по голове и воскликнул:

– А там холодно внутри! Господи, и громко! Я хочу сказать – все громко! И голос мой громкий!

– Мы вылечили твою глухоту, – объявил доктор Яннис. – По-моему, очень успешная операция.

– Мне сделали операцию, – самодовольно произнес Стаматис. – Мне одному из всех, кого я знаю, сделали операцию. И я теперь слышу.

Это чудо – вот что это такое. У меня голова будто пустая, будто полая и словно вся наполнена родниковой водой, такой холодной и чистой.

– Так пустая голова или полная? – строго спросила старуха. – Не пори чепухи – доктор был так добр и вылечил тебя.

Она взяла руку Янниса в свои и поцеловала; а вскоре после этого доктор уже шел домой, держа под каждой рукой по жирному куренку, из карманов пиджака торчали блестящие баклажаны, а в носовой платок была завернута древняя горошина – новый экспонат его личного медицинского музея.

Удачный день: еще он заработал два больших хороших лангуста, банку с мальками, саженец базилика и получил приглашение вступить в половую связь (в любое удобное для него время). Он решил, что не примет это специфическое предложение, даже если «сальварсан» окажется эффективным. У него оставался целый вечер, чтобы писать историю Кефалонии, если только Пелагия не забыла купить керосина для ламп.

С «Новой историей Кефалонии» возникали сложности – писать ее, не примешивая собственные чувства и предубеждения, не получалось. Похоже, ему никак не удавалось достичь объективности, а на неловкие попытки он истратил бумаги, наверное, больше, чем обычно использовалось на всем острове за год. Голос, вторгавшийся в сочинение, был неистребимо его собственным и абсолютно не голосом историка. Он был лишен величия и беспристрастия. В нем не было олимпийского спокойствия.

Доктор сел и написал: «Кефалония – фабрика по разведению детей на экспорт. Кефалонийцев больше за границей или в море, чем дома. Отсутствует местная промышленность, сохраняющая семьи, недостаточно пахотных земель, не хватает рыбы в океане. Наши мужчины уезжают за границу и возвращаются сюда умирать, поэтому мы – остров детей, старых дев, попов и глубоких стариков. Хорошего во всем только то, что лишь красивые женщины находят себе мужей среди оставшихся мужчин: таким образом, гнет есте-

ственного отбора обеспечил нас самыми красивыми женщинами во всей Греции, а может быть, и в целом Средиземноморье. Неблагоприятная сторона – то, что наши красивые и пылкие женщины замужем за нелепыми и никудышными мужчинами, которые никогда и ни на что не годились, а также то, что у нас остается некоторое количество унылых и непривлекательных женщин, которые ни в ком не вызывают желания и рождены быть вдовами, никогда не имевшими мужей».

Доктор Яннис набил трубку и перечитал написанное. Прислушался, как Пелагия гремит посудой на дворике, готовясь варить лангуста. Он прочел то, что написал о красивых женщинах, и вспомнил свою жену – такую же хорошенькую, какой стала и дочь, жену, умершую от туберкулеза, хотя он сделал все, что было в его силах.

«Остров предает жителей просто фактом своего существования», – написал он, а затем скомкал лист и швырнул в угол комнаты. Так не пойдет; ну почему он не может писать, как летописец? Почему не может писать без страсти? Без гнева? Без ощущения, что кто-то его предает и подавляет? Доктор взял лист, уже погнувшийся на уголках, – его он написал первым. Это была титульная страница – «Новая история Кефалонии». Он зачеркнул первое слово и заменил его на «собственная». Вот теперь можно не беспокоиться, что упущены яркие прилагательные, и не завидовать древним историкам; теперь он мог быть язвительным к рим-

лянам, норманнам, венецианцам, туркам, британцам и даже к самым островитянам. Он написал:

«Полузабытый остров Кефалония непредусмотрительно и необдуманно поднимается из Ионического моря; этот остров так погружен в древность, что даже камни здесь дышат тоской по прошлому, а красная земля оглушена не только солнцем, но и неподъемным грузом памяти. Корабли Одиссея были построены из кефалонийской сосны, в его охране были кефалонийские гиганты, а некоторые утверждают, что и дворец его находился не на Итаке, а на Кефалонии.

Но даже до того, как этот лукавый странствующий царь получил покровительство Афины и пустился по воле волн наперекор неумолимой злобе Посейдона, народы мезолита и неолита уже вытесывали ножи из обсидиана и забрасывали сети в море. Пришли микенские эллины, оставили после себя черепки амфор, похожие на женскую грудь могилы и потомство, которое много лет спустя после отплытия Одиссея будет сражаться за Афины, попадет под тиранию Спарты, а затем нанесет поражение даже страдавшему манией величия Филиппу Македонскому – отцу Александра, почему-то известного как “Великий” и все же еще более бессмысленно одержимого.

Этот остров населяли боги. На вершине горы Энос находилась одна гробница Зевса, другая – на крохотном острове Тиос. Деметре поклонялись за превращение острова в житницу Ионии – так же, как и Посейдону, богу, который

похитил Деметру, скрывшись под личиной жеребца, и оставил ее рожать черную лошадь и мистическую дочь, чье имя позабылось, когда элевсинские мистерии³ были вытеснены христианами. Здесь жил Аполлон, убийца Пифона, хранитель пупа земли, прекрасный, юный, мудрый, справедливый, сильный, преувеличенно двуполый – единственный бог, которому пчелы построили храм из воска и перьев. Здесь боготворили и Диониса, бога вина, наслаждения, цивилизации и произрастания, от которого Афродита родила маленького мальчика, снабженного самым колоссальным пенисом, когда-либо обременявшим человека или бога. И у Артемиды здесь имелись почитатели – у этой многогрудой девы-охотницы, богини столь непреклонно феминистских убеждений, что Актеона собаки разорвали на куски лишь за то, что он случайно увидел ее обнаженной, а героя-любownika Ориона скорпионы зажалили до смерти потому, что он непредумышленно ее коснулся. Она столь ревностно придерживалась этикета и была так скоро на расправу, что за одно только не вовремя сказанное слово или пятиминутную задержку с жертвоприношением могла уничтожать целые династии. Там были и храмы в честь Афины, вечной девственницы, которая (проявив большую снисходительность в сравнении с Артемидой) ослепила Тиресия, увидевшего ее обнаженной. Она была грандиозно одарена в ремеслах, столь необходи-

³ В Древней Греции ежегодные религиозные празднества в городе Элевсин в честь Деметры и Персефоны.

мых в экономике и домашнем быту, и служила покровительницей рогатого скота, лошадей и олив.

В своем выборе богов жители острова проявили великолепный и негибачаемый здравый смысл, ставший секретом их выживания на протяжении столетий: очевидно, что царю богов следует поклоняться; ясно, что мореплавателям нужно умиротворять бога моря; виноторговцы должны почитать Диониса (это самое распространенное имя на острове до сих пор); понятно, что Деметра должна быть почитаема за то, что давала острову все необходимое; очевидно, что Афину должно боготворить за дарованные мудрость и навыки в решении ежедневных жизненных задач – к тому же, ей приходилось предвидеть неисчислимы напасти войн. Неудивительно, что должен был существовать и культ Артемиды, он – как надежная страховка; ведь она была кусачим оводом, и лучше бы ее укусы терпели в каком-нибудь другом месте.

Почему кефалонийцы выбрали объектом поклонения именно Аполлона – самая большая загадка, и в то же время здесь нет ничего таинственного. Особенно это необъяснимо для тех, кто никогда не бывал на острове, и совершенно понятно тем, кто знает его, ведь Аполлон – бог, ассоциируемый с властью света. Чужаки, приезжающие сюда впервые, слепнут на два дня.

Кажется, этот свет не связан ни с воздухом, ни со стратосферой. Он абсолютно девствен, дает потрясающую ясность зрения, обладает героической силой и яркостью. Он выявля-

ет краски в их подлинном состоянии до грехопадения, словно они взяты прямо из воображения Господа во дни начала Творенья, когда Он еще полагал, что все идет хорошо. Темная зелень сосен бездонно и гостеприимно глубока; океан, обозреваемый с вершины утеса, бескорыстно преподносит свои небесную лазурь и бирюзу, все изумрудные, голубовато-зеленые и лазоревые оттенки. Глаз козы – живой полудрагоценный камень, нечто среднее между янтарем и шпинелью, а сверчки – светящаяся зелень молоденьких побегов травы в первозданном Эдеме. Как только глаза приспособятся к пронзительной непорочной чистоте этого света, в любом другом месте свет будет казаться жалким и промозглым – он стоит лишь того, чтоб скользнуть по нему взглядом, обманутая надежда, позор. Даже в морской воде Кефалонии видно лучше, чем в воздухе любого другого места; можно плыть по воде, разглядывая далекое дно, и отчетливо видеть мрачных скатов, которые почему-то всегда сопровождают маленьких камбал».

Ученый доктор откинулся на спинку стула и прочел написанное. Оно показалось ему по-настоящему поэтичным. Он прочел еще раз и посмаковал отдельные фразы. На полях написал: «Не забыть: все кефалонийцы – поэты. Где бы это упомянуть?»

Он вышел во двор и облегчился на пяточке, где росла мята. Проазотил растение в строгом чередовании, завтра наступит очередь душицы. Вернулся в дом, как раз чтобы поймать

козленка Пелагии, с явным удовольствием поедавшего его записи. Доктор выдернул лист изо рта животного и выгнал его из дома. Козленок пронесся в дверь и негодуя замекнул, спрятавшись за массивным стволом оливкового дерева.

– Пелагия, – возмущенно начал доктор, – твое проклятое жвачное съело все, что я написал сегодня. Сколько раз я должен повторять – не пускай его в дом? Еще раз что-нибудь подобное, и для него это кончится вертелом. Это мое последнее слово. И так трудно сосредоточиться, а тут еще это животное подрывает все, что я делаю.

Пелагия взглянула на отца и улыбнулась:

– Мы будем ужинать примерно в десять.

– Ты слышала, что я сказал? Я сказал – больше никаких козлов в доме! Понятно?

Она отложила перец, который резала, и поправила сбившиеся на лицо волосы:

– Ты любишь его так же, как и я.

– Во-первых, я не люблю жвачных, а во-вторых, не спорь со мной. В мое время дочери не спорили с отцами. Я этого не потерплю.

Пелагия подбоченилась и состроила кислую рожицу.

– Папас, – сказала она, – и сейчас твое время. Ты же не умер, правда? Во всяком случае, козленок тебя любит.

Доктор Яннис отвернулся, обезоруженный и побежденный. Вот вечно так, черт побери, получается, когда дочка использует женские уловки против собственного отца и в

то же время так напоминает мать. Он вернулся к столу и взял новый лист. Вспомнил, что в последней попытке он как-то умудрился сбиться с богов на рыбу. С точки зрения литературы, может, и к лучшему, что все съедено. Он написал: «Только такой неосмотрительный остров, как Кефалония, мог столь беспечно разместиться на разломе, подвергаясь опасности разрушительного землетрясения. Только такой апатичный остров, как этот, мог позволить наводнить себя полчищами бродячих и наглых коз».

2. Duce⁴

Иди сюда. Да, ты. Сюда иди. Ну-ка, скажи мне, какой профиль у меня лучше – правый или левый? Да, ты думаешь? А я вот не уверен. Мне кажется, что нижняя губа лучше смотрится с другой стороны. О, ты тоже так считаешь? Наверное, ты согласишься со всем, что я скажу? О, ты согласен. Так как же я могу полагаться на твое суждение? А если я скажу, что Франция сделана из бакелита⁵, тогда что? И ты согласишься со мной? Что это значит – «да, господин», «нет, господин», «я не знаю, господин»? Что это за ответ? Ты кретин, или как? Иди и принеси мне зеркала, чтобы я сам смог посмотреть.

Да, это очень важно и вполне естественно, чтобы народ воспринимал меня как апофеоз итальянского идеала. Вам не удастся подловить и заснять меня в нижнем белье. Я больше не появлюсь и в костюме с галстуком, коли на то пошло. Я не хочу, чтобы меня считали дельцом, таким бюрократом, да и эта форма мне очень к лицу. Я – воплощение Италии, возможно, даже больше, чем сам король. Вот она – Италия, красивая и воинственная, где все работает как часы. Италия – нестигаемая, как сталь. Одна из Великих держав, и это я сделал ее такой.

⁴ Дуче (*ит.*).

⁵ Бакелит, он же резол – пластический материал, изначально назван по имени американского химика Л. Бакеланда.

Ага, вот и зеркала. Поставь там. Да нет, вон там, *idiot*⁶. Да, так. А другое поставь вот сюда. Господи боже мой, я что, все сам должен делать? Что с тобой, парень? Хм, пожалуй, мне нравится левый профиль. Наклони немного зеркало. Еще, еще. Хватит. Вот так. Чудесно. Нужно сделать так, чтобы люди всегда смотрели на меня снизу. Я всегда должен находиться выше их. Послать кого-нибудь проехать по городу и найти лучшие балконы. Пометь это. Пометь еще одно, пока я не забыл. По приказу Дуче необходимо провести максимальные лесопосадки на всех горах Италии. Что значит – зачем? Разве это не очевидно? Чем больше деревьев, тем больше снега – это всем известно. Италия должна стать холоднее, чтобы люди, которых она взращивает, стали выносливей, находчивей, жизнерадостней. Это печальная правда, но тем не менее, это правда – из наших юношей не получают такие солдаты, какими были их отцы. Они должны стать холоднее, как немцы. Лед в душе – вот что нам нужно. Клянусь, страна потеплела со времен Великой войны. Народ разленился, ни на что уже не годен. Такие не нужны империи. Жизнь превращается в сиесту. Недаром меня называют «Недремлющий диктатор» – не бывает так, чтобы я дрых весь день. Пометь. Это будет нашим новым девизом: «*Libro e Moschetto – Facisto Perfetto*»⁷. Я хочу, чтобы люди поняли – фашизм не только социальная и политическая революция,

⁶ Идиот (*um.*).

⁷ «Книга и карабин – совершенный фашист» (*um.*).

но и культурная. У каждого фашиста должна быть книга в ранце, понятно? Мы не собираемся быть филистерами. Я хочу, чтобы в каждом, даже самом маленьком, городе были фашистские клубы-читальни, и я не желаю, чтобы эти чертовы *squadristi*⁸ приходили и поджигали их, ясно?

А что это там с Альпийским полком? Будто бы шел по Вероне и пел «*Vogliamo la pace e non vogliamo la guerra*»⁹? Расследовать немедленно. Я не позволю элитным частям маршировать повсюду и распевать пацифистски-пораженческие песни, когда мы еще толком в войну не вступили. Кстати, об альпийцах – что там за драка была у них с фашистскими легионерами? Что еще я должен сделать, чтобы военные приняли милицию? А как вот такой еще девиз: «Война для мужчины – что материнство для женщины»? Очень хорошо, согласись? Чудесный девиз, в нем много мужества, на каждый день гораздо лучше, чем «Церковь, Кухня, Дети»¹⁰. Позвони Кларе и скажи – я зайду сегодня вечером, если получится удрать от жены. А как тебе такой девиз: «С бесстрашным благоразумием»? Ты уверен? Я не помню, чтобы кто-то говорил так в своих речах. Наверное, очень давно. А может, и не очень удачный девиз.

Пометь вот что. Я хочу, чтобы нашим людям в Аф-

⁸ Член боевой фашистской организации (*ит.*).

⁹ «Хотим мира и не хотим войны» (*ит.*).

¹⁰ «Церковь, кухня, дети» – лозунг немецких национал-социалистов, возврат к традиционным семейным ценностям.

рике было абсолютно ясно — практика так называемого «*madamismo*»¹¹ должна закончиться. Я никак не могу одобрить идею создания итальянскими мужчинами семей с местными женщинами и разжижения чистой крови. Нет, речь не о местных проститутках. *Sciarmute*¹² необходимы для поддержания боевого духа наших людей там. Но я просто не потерплю любовных связей, вот и все. Что значит — Рим проводил политику ассимиляции? Я это знаю, и знаю, что мы реконструируем империю, но времена сейчас другие. Сейчас фашистские времена.

Кстати, об этих черномазых — ты видел у меня ту брошюру «*Partito e Impero*»¹³? Мне нравится вот это место: «Короче, мы должны постараться придать итальянскому народу империалистическую и расистскую ментальность». А, да, евреи. Ну, я думаю, стало предельно ясно, что еврейским итальянцам придется решить, кто они прежде — итальянцы или евреи. Это очень просто. Мимо моего внимания не прошло, что международное еврейство настроено антифашистски. Я не тупой. Я прекрасно знаю, что сионисты — инструмент британской зарубежной политики. Насколько я понимаю, нам необходимо ввести квоты для евреев на должности в государственных учреждениях. Я не потерплю никакой диспропорции, и мне безразлично, если некоторые горо-

¹¹ Связи с женщинами (*ит.*).

¹² Африканские проститутки (*ит.*).

¹³ «Партия и Империя» (*ит.*).

да останутся без мэров. Мы должны идти в ногу с нашими немецкими товарищами. Да, я знаю, что Папе это не нравится, но он очень много потеряет, если в это полезет. Он знает, что я могу отменить латеранские пакты¹⁴. У меня в руках трезубец, и Папа знает, что я могу всадить этот трезубец ему в зад. Я отказался от атеистического материализма ради мира с Церковью и дальше этого не пойду.

Пометь. Я хочу заморозить заработную плату, чтобы инфляция осталась под контролем. Увеличить семейные субсидии на пятьдесят процентов. Нет, я не думаю, что последнее перечеркнет эффективность первого. Ты что думаешь, я не разбираюсь в экономике? Сколько раз я должен объяснять, болван, что фашистская экономика не подвержена циклическим потрясениям капитализма? Как ты смеешь противоречить мне и говорить, что верным оказывается совсем противоположное? А почему, по-твоему, мы шли к самодостаточности все эти годы? У нас просто зубки резались, вот и все, *zuccone, sciocco, balordo*¹⁵. Пошли телеграмму Фариначчи с соболезнованием, что ему оторвало руку, – но чего же еще можно ожидать, если ходить на рыбалку с ручными гранатами. Сообщи в прессу, что он совершил что-нибудь ге-

¹⁴ Соглашение между итальянским государством и католической церковью об образовании на территории Рима государства Ватикан, подписанное в 1929 г. и регулирующее финансовые и правовые отношения между ними; действует поныне в редакции 1984 г.

¹⁵ Остолоп, глупец, тупица (*um.*).

роическое. Мы дадим статью об этом в «*Il Regime Fascista*»¹⁶ в понедельник. Что-нибудь вроде: «Партийный босс в доблестном сражении против эфиопов». Кстати, как идут эксперименты с отравляющим газом? Ну который против черномазых партизан? Надеюсь, что *rifiuto*¹⁷ будут умирать медленно, только и всего. Максимум агонии. *Pour encourager les autres*¹⁸. Будем захватывать Францию? Как насчет «Фашизм переступает через классовые противоречия»? Чиано еще здесь? Я получаю доклады со всей страны, что настроения в подавляющем большинстве – антивоенные. Не могу этого понять. Промышленники, буржуазия, рабочий класс, даже армия, господи боже мой! Да, я знаю, что ожидает депутация художников и интеллигенции. Что? Собираются преподнести мне награду? Немедленно впустить.

Добрый вечер, господа. Должен сказать – огромное удовольствие получить награду от наших, э-э, величайших умов. Я буду с гордостью носить ее. Как продвигается ваш новый роман? А, простите, совсем забыл. Разумеется, вы – скульптор. Оговорился. Моя новая статуя? Чудесно. Ведь Милану нужны памятники, не так ли? Позвольте мне напомнить вам, хотя уверен, в этом нет нужды, что фашизм – фундаментально и в своей основе – концепция эстетическая и ваша задача, как творцов прекрасного, с наибольшей эффек-

¹⁶ «Фашистский режим» (ит.).

¹⁷ Подонки (ит.).

¹⁸ Послужит в назидание другим (фр.).

тивностью отображать величественную красоту и неизбежную реальность фашистского идеала. Не забывайте об этом; если вооруженные силы – семенники фашизма, а я – его мозги, то вы – его творческая фантазия. На вас лежит большая ответственность. А теперь извините, господа, дела государства, вы понимаете. Должен быть на аудиенции у Его Величества. Да, конечно, я передам ваши верноподданнические чувства. Другого он и не ждет. До свидания.

Ну вот, избавился от них. Симпатичный, правда? Наверное, отдам Кларе. Ее это очень забавляет. А, Чиано идет, да? Давно пора. Ну конечно, ошивался на гольфе. Абсолютно идиотская игра, на мой взгляд. Я мог бы понять, если бы в ней нужно было стараться подбить кролика или перехватить лишнюю куропатку. Но первую лунку же не съешь? Не добудешь потрошка хорошим ударом?

А-а, Галеаццо, как приятно тебя видеть. Входи, входи. *Bene, bene*¹⁹. Как поживает моя дорогая дочь? Чудесно, когда правительство, так сказать, в семье. Как хорошо, когда есть кому довериться. Играл в гольф? Я так и думал. Чудная игра, такая захватывающая, такая сложная, и умственно, и физически. Если бы у меня было время ею заняться. А так просто теряешься, когда разговор сворачивает на мэши, клики, мидайроны²⁰. Просто элевсинские мистерии. Я сказал «элевсинские». О, пустяки. Какой чудесный костюм. Такой хоро-

¹⁹ Хорошо, хорошо (*um.*).

²⁰ Названия клюшек для гольфа.

ший покррой. И просто выдающиеся ботинки. Они называются «сапоги Георга»? Интересно, почему. Не английские, нет? Ну а по мне, так лучше старые добрые армейские сапоги, Галеаццо; в элегантности мне тебя не превзойти, признаю сразу. Я человек от земли, а когда земля итальянская — лучше всего, согласен?

Послушай, нам нужно разобраться с этим греческим делом раз и навсегда. Мы ведь, кажется, договорились, что после всех наших достижений необходимо новое направление. Ты только подумай, Галеаццо, когда я был журналистом, и речи не было об Итальянской империи. Теперь, когда я Дуче, у нас есть империя. Это великое и прочное наследство, в этом не может быть сомнения. Больше аплодируют симфонии, а не квартету. Но можем ли мы останавливаться на Африке и нескольких островах, о которых никто и не слышал? Можем ли мы почивать на лаврах, когда повсюду в партии раскол, а нашу политику в главном никто не поддерживает? Нам нужно наскипидарить нации задницу, не так ли? Необходимо предпринять что-то великое и объединяющее. Нам нужен враг, нам нельзя сбавлять имперской скорости. Вот почему я возвращаюсь к теме Греции.

Я просмотрел документы. Прежде всего, необходимо стереть позорное историческое пятно — это весьма веская причина. Я имею в виду инцидент Теллини 1923 года²¹, как ты,

²¹ В августе 1923 г. Италия оккупировала греческий остров Корфу, но затем под давлением Британии Муссолини вывел войска. Поводом к конфликту послу-

конечно, понимаешь. Между прочим, мой дорогой граф, я все больше и больше убеждаюсь, что ты ведешь зарубежную политику независимо от меня, и в результате часто оказывается, что мы одновременно тянем в разные стороны. Нет, не возражай, это просто недоразумение. Наш посол в Афинах совершенно сбит с толку, и, возможно, в наших интересах, чтобы он таким и оставался. Я не хочу, чтобы Грацци делал намеки Метаксасу²², нас устраивает их дружба. Вреда никакого не было; мы взяли Албанию, я написал Метаксасу, чтобы успокоить и похвалить за его отношение к королю Зогу, все идет очень хорошо. Да, я в курсе, что британцы связывались с Метаксасом и обещали помощь в защите Греции в случае вторжения. Да, я знаю, Гитлер хочет, чтобы Греция была в составе Оси, но давай прямо взглянем на это – а что мы задолжали Гитлеру? Он будоражит всю Европу; кажется, нет предела его жадности и безответственности, и в довершение всего он забирает румынские нефтяные промыслы, не оставляя нам вообще ни ломтика пирога. Какова наглость! Да кто он такой? Боюсь, Галеаццо, мы должны действовать из расчета, как выпадут кости, и я вынужден признать, что у Гитлера все шестерки. Или мы присоединяемся к нему и делим всю добычу, или рискуем подставиться Австрии, как только коротышка сочтет нападение удобным. Вопрос в том,

жило убийство членов комиссии по установлению греко-албанской границы, в том числе – генерала Энрико Теллини.

²² Иоаннис Метаксас (1871–1941) – премьер-министр Греции с 1936 г., сторонник реставрации монархии.

чтобы воспользоваться случаем и избежать риска. И это вопрос расширения империи. Мы должны и дальше ворошить освободительное движение в Косове и ирредентизм²³ в Чамурии²⁴. Получаем Югославию и Грецию. Вообрази, Галеаццо, мы перестроили все Средиземноморское побережье в новую Римскую империю. У нас есть Ливия, осталось только соединить эти точки. Это надо сделать, не сообщая Гитлеру: я тут узнал, что греки обращались к нему за гарантиями. Представь, какое впечатление это произведет на фюрера, когда он увидит, как мы пронеслись по Греции в несколько дней. Наверняка это заставит его призадуматься. Вообрази себя во главе фашистского легиона – ты въезжаешь в Афины на башне танка. Представь, как наше знамя развевается над Парфеноном.

Ты помнишь план Гуццони? Восемнадцать дивизий и год подготовки? И тогда я сказал: «Греция не лежит на нашем пути, и нам от нее ничего не нужно, – а потом я сказал Гуццони: война с Грецией окончена. Греция – обглоданная кость, она не стоит жизни и одного сардинского гренадера». Что ж, обстоятельства изменились, Галеаццо. Я сказал это, потому что хотел Югославию. Но почему не взять обе? Кто сказал, что нам потребуется год подготовки? Какие-то старые тупые генералы с их устаревшими методами – вот кто. Мы можем

²³ Политическое и общественное движение конца XIX – начала XX в. за присоединение к Италии пограничных земель с итальянским населением.

²⁴ Чамурия – албанское самоназвание греческого Эпира.

сделать это за неделю одной когортой легионеров. Нет в мире солдат решительнее и доблестнее, чем наши.

А британцы провоцируют нас. Я говорю не о бреде де Веккьи. Кстати. Де Веккьи сообщил тебе, что британцы атаковали подводную лодку у Левкаса, еще две у Занта и создали базу на Милосе. А я получил доклад капитана Мориса, что ничего подобного не происходило. Запомни хорошенько, что де Веккьи – помешанный и одержимый, и в один прекрасный день, не забыть бы только, я привяжу его за пушистые усы и оторву ему яйца без анестезии. Слава богу, он в Эгейском море, а не здесь, иначе я был бы по горло в дерьме. От его дерьма все море уже стало коричневым.

Но британцы потопили «Кольони», а греки позорно позволяют британским кораблям заходить в свои порты. Что значит – мы случайно разбомбили греческий транспортный корабль и эсминец? Случайно? Ничего, потом еще больше кораблей потопим. Грацци говорит, что в Греции вообще нет британских баз, но мы этого не слышали, правда? Нам выгоднее утверждать, что они есть. Важно, чтобы Метаксас перед нами обгадился. Надеюсь, я могу доверять этому твоему докладу, что греческие генералы – с нами; если это верно, как получилось, что они арестовали Платиса? И куда делись все деньги, выделенные на подкуп чиновников? Там же миллионы, драгоценные миллионы, на которые лучше тогда было бы купить оружие. И ты уверен, что население Эпира действительно хочет войти в состав Албании? Откуда ты

знаешь? А, понятно, – разведка. Я решил, между прочим, не спрашивать болгар, собираются они начинать вторжение в те же сроки или нет. Конечно, нам было бы легче, но вышла бы слишком легкая победа; и если болгары получают коридор к морю, это прервет наши линии снабжения и коммуникации, ты не считаешь? В любом случае не нужно, чтобы они грелись в лучах славы, которая по праву принадлежит нам.

Значит, я хочу, чтобы ты организовал нападения на нас. Наша военная кампания требует легитимности по причинам международного государственного устройства. Нет, я беспокоюсь не об американцах, Америка не имеет военного значения. Но помни, мы начинаем вторжение, когда нам удобно. Не должно быть никакого уважительного «*casus belli*»²⁵, который вынудит нас начать, прежде чем мы подготовимся. «*Avanti piano, Quasi indietro*»²⁶. Наверное, нужно выбрать для террористического акта какого-нибудь албанского патриота, и мы сможем обвинить в нем греков. И я думаю, стоит потопить греческий линкор – так, чтобы стало очевидно, что это сделали мы, но не настолько, чтоб мы не смогли обвинить в этом британцев. Это вопрос разумного устрашения, оно ослабит волю греков.

Кстати, Галеаццо, я решил, что перед самым вторжением мы проведем в армии демобилизацию. Что значит – какое-то извращение? Ты пойми, греки после этого ослабят бдитель-

²⁵ Формальный повод к войне (*лат.*).

²⁶ «Тише едешь – дальше будешь» (*ит.*).

ность, а мы пожнем плоды при видимости нормализации отношений. Подумай об этом, Галеаццо, подумай, какой это будет сильный ход. Греки только переведут дух с облегчением, а мы мгновенно расплющим их сокрушительным ударом.

Я связался с Генеральным штабом, мой дорогой граф, и потребовал, чтобы разработали планы захвата Корсики, Франции, Ионических островов и новой кампании в Тунисе. Уверен, мы это осилим. Они все стонут, что нет транспорта, поэтому я отдал приказ пехоте проводить учения с маршами по пятьдесят миль в день. Небольшая проблема с военно-воздушными силами. Все они в Бельгии, так что, полагаю, на днях нужно будет что-то предпринять по этому поводу. Напомни. Следует поговорить об этом с Приколо – нельзя, чтобы командующий ВВС один не знал, что происходит. И у военной тайны есть пределы. Генеральный штаб препятствует мне, Галеаццо. Бадольо²⁷ смотрит на меня, как на сумасшедшего. В один прекрасный день он посмотрит в лицо Немезиды и поймет, что у нее – мое лицо. Он меня достал. Полагаю, нам следует также захватить Крит, а когда британцы возмутятся – все отрицать.

Джакомони телеграфировал мне следующее – мы можем ожидать многочисленных предательств в греческих рядах, греки ненавидят Метаксаса и короля, очень подавлены и намереваются оставить Чамурию. Кажется, Господь за нас.

²⁷ Пьетро Бадольо (1871–1956) – итальянский государственный и военный деятель, маршал; в 1943–1944 гг. – премьер-министр Италии.

Необходимо что-то делать с тем фактом, что и Его Величество, и я – оба первые маршалы королевства: в такой аномалии существовать совершенно невозможно. Между прочим, Праска²⁸ телеграфировал, что ему не требуется никаких подкреплений для вторжения. Так почему мне все говорят, что без них не обойтись? Трусость – вот что это такое. Я по опыту знаю, что никто так не заблуждается, как военные специалисты. Видно, мне самому придется все за них делать. Только и жалуются, что всего не хватает. Почему исчезли все неприкосновенные запасы? Я хочу, чтобы это расследовали.

Позволь мне напомнить тебе, Галеаццо: Гитлер противится этой войне, потому что Греция – тоталитарное государство, которое, естественно, должно быть на нашей стороне. Поэтому не говори ему. Мы покажем ему такой блицкриг, что он позеленеет от зависти. И мне все равно, если на нас накинута британцы. Их мы тоже раздавим.

КТО ВПУСТИЛ СЮДА ЭТУ КОШКУ? С КАКИХ ЭТО ПОР У НАС ПОЯВИЛАСЬ ДВОРЦОВАЯ КОШКА? ЭТО ОНА НАСРАЛА В МОЮ КАСКУ? ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ, Я НЕ ВЫНОШУ КОШЕК! ЧТО ЗНАЧИТ – ЭКОНОМИЯ НА МЫШЕЛОВКАХ? НЕ УКАЗЫВАЙТЕ МНЕ, КОГДА МОЖНО И КОГДА НЕЛЬЗЯ СТРЕЛЯТЬ В ПОМЕЩЕНИИ! ОТОЙДИ ИЛИ ТОЖЕ СХВАТИШЬ ПУЛЮ! О господа, меня тошнит. Я чувствительный человек, Галеаццо, у

²⁸ Себастьяно Висконти Праска (1883–1961) – командующий итальянской армии, возглавлял части, вторгшиеся в Грецию и Албанию в октябре 1940 г.

меня художественная натура, мне нельзя смотреть на всю эту кровь и грязь. Пусть кто-нибудь это уберет, мне нехорошо. Что значит – она еще жива? Вынеси и сверни ей шею. НЕТ, Я НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ ЭТО САМ. Ты что думаешь – я варвар, или что? О господи. Дай мне мою каску, скорее, меня сейчас вырвет. Выкиньте ее и принесите новую. Я хочу пойти прилечь, сиеста уже, должно быть, закончилась.

3. Силач

Загадочные козы горы Энос повернулись по ветру, вдыхая влажные пары рассветного моря, служившего водным пространством этой засушливой, грубой и неукротимой земле. Пастух Алекос, настолько не привыкший к человеческому обществу, что был немногословен, даже говоря про себя, пошевелился под покрывалом из шкур, коснулся надежного приклада ружья и опять погрузился в сон. Времени будет достаточно, чтобы проснуться, съесть хлеб, посыпанный душицей, пересчитать стадо и погнать его на пастбище. Его жизнь не имела времени, он бы мог быть одним из своих предков, и козы его делали то же, что кефалонийские козы делали всегда: спали днем, укрывшись от солнца на головокружительных северных склонах утеса, а вечером заунывные звуки их колокольцев, наверное, слышали даже на Итаке: они разносились в тихом воздухе и заставляли дальних крестьян поднимать головы в удивлении – чье же это стадо проходит так близко? Алекос и в шестьдесят оставался таким же, как в двадцать, – худым и сильным, сущее чудо неторопливой прочности, не способное на полет воображения, как и любая из его коз.

Далеко внизу перышко дыма прямо поднималось в воздух – горела долина. В ней никто не жил, и пожар беспрепятственно поедал заросли. За пожаром с беспокойством на-

блюдали только те, кто опасался, что поднимется ветер и перебросит искры на дорогие им жилища, на крохотные делянки с каменистой землей и сорняками, окруженные кучами валунов. Веками эти камни стаскивали с полей, и они удобно сложились в стены-ограды, которые качались от прикосновения руки, но падали только во время землетрясений. Греки любят цвет невинности, и многие стены поэтому были выкрашены белым, будто недостаточно того, что ослепляет солнце. Заезжий патриот намалевал на большинстве из них бирюзовой краской «Энос», но никто из кефалонийцев не видел надобности в восстановлении чистоты стен. Казалось, каждая стена напоминала, что они – члены семьи, разрушенной сбившимися границами дряхлых империй-соперниц, рассеянной непокорным морем и принесенной в жертву историей, разбросавшей их на перепутьях мира.

Новые империи теперь плескались у берегов старой. В скором времени больше не будет сильных пожаров в долине, в которых гибнут ящерицы, ежи и цикады, зато возникнет необходимость кремации евреев и гомосексуалистов, цыган и психически больных. Поперек небес над Европой и Северной Африкой, Сингапуром и Кореей крупно выпишут названия Герники и Абиссинии. Самозванные высшие расы, опьяненные Дарвином и националистической гиперболой, одурманенные евгеникой и обманутые мифом, уже раскручивали механизм геноцида, что скоро будет запущен в мире, до глубины сердца утомленном этой безграничной глупостью и

презренным тщеславием.

Но сила восхищает и обольщает всех, включая Пелагию. Услыхав от соседки, что на площади силач показывает фокусы и чудеса, достойные самого Атланта, она отложила метлу, которой подметала дворик, и поспешила влиться в гого-чущее стадо любопытных и впечатлительных, что собралось у стены.

Мегало Велисарий, известный по всем островам Ионии, называвший себя сильнейшим человеком среди когда-либо живших, наряженный, как сказочный турок, в шаровары и причудливые туфли, с волосами изумительно длинными, как у Назорея или самого Самсона, скакал на одной ноге в такт хлопкам публики. Он раскинул руки и на громадном бицепсе каждой держал по взрослому человеку. Один плотно прилип к его телу, а другой, более искушенный в этом требующем мужества искусстве, с показным спокойствием курил сигарету. Картину дополняла сидевшая на голове Велисария маленькая испуганная девочка лет шести – она осложняла его маневры тем, что крепко зажимала ему глаза руками. «Лемони! – ревел он. – Убери руки с глаз и держись за волосы, или я остановлюсь».

Совершенно потрясенная Лемони не могла шевельнуть рукой, и Мегало Велисарий остановился. Изящно, одним движением, точно лебедь, что отряхивается, выходя на берег, он сбросил на землю обоих мужчин, потом подхватил с головы Лемони и подкинул ее высоко в воздух, поймал под

руки, театрально поцеловал в кончик носа и опустил. Лемони, закатив от облегчения глаза, решительно протянула руку – было заведено, что Велисарий вознаграждал маленьких жертв конфетами. Лемони съела свой приз на глазах у всех, разумно предвидя, что брат отберет конфету, если она попробует оставить ее на потом. Великан ласково потрепал ее по голове, погладил блестящие черные волосы, поцеловал еще раз и выпрямился в полный рост.

– Я подниму такое, что только трое мужчин смогут поднять! – прокричал он, и жители деревни присоединились к этим много раз слышанным прежде словам хорошо отрепетированным хором. Велисарий хоть и был силен, но реприз своих не менял никогда.

– Подними корыто!

Велисарий осмотрел корыто длиной по меньшей мере два с половиной метра – оно было высечено из цельного камня.

– Слишком длинное, – сказал он. – Мне его не ухватить.

В толпе раздались недоверчивые смешки, и силач двинулся на нее, бросая свирепые взгляды, потрясая кулаками и принимая позы – он в шутку изображал гнев гиганта. Люди смеялись, зная, что Велисарий – человек мягкий и даже мухи не обидит. Неожиданно он просунул руки под брюхо мула, расставил ноги и поднял его на уровень груди. Пораженное животное, испуганно хлопая глазами, покорилося такому непривычному обращению, но, снова оказавшись на ногах, вскинуло голову, возмущенно заорало и галопом умча-

лось по улице. Хозяин понесся следом.

Именно в этот момент отец Арсений вышел из своего домика и с важным видом вперевадку двинулся к толпе по пути в церковь. Он намеревался сосчитать деньги в деревянном ящике, куда прихожане опускали монетки за свечи.

Отца Арсения не уважали не потому, что он напоминал огромный шар на ножках, вечно потел и хрюкал от натуги при каждом движении, но оттого, что ему все сходило с рук – этому обжоре, вероятно, развратнику, неумолимому домогателю милостыни и пожертвований, этой долговой расписке в человеческом обличье. Говорили, он нарушил запрет, по которому священник не может заново жениться, и приехал сюда из Эпира, чтобы от запрета избавиться. Говорили, что он плохо обращается с женой. Но так говорили о большинстве мужей, и часто это оказывалось правдой.

– Подними отца Арсения! – крикнул кто-то.

– Нельзя! – крикнул другой.

Отец Арсений неожиданно понял, что его схватили под мышки и подняли на край стены. Изумленный до того, что даже не возмущался, он сидел там, моргая и по-рыбьи хлопая ртом, и солнце искрилось в капельках пота у него на лбу.

Кто-то захихикал, но потом наступила неловкая тишина. Растерянное молчание затянулось. Священник побагровел, Велисарию захотелось уползти куда-нибудь и спрятаться, а Пелагия почувствовала, как сердце ее переполнили возмущение и жалость. Чудовищное преступление – публично

оскорбить глашатая Господа, каким бы ничтожным человеком и священником он ни был. Она шагнула вперед и протянула руку, чтобы помочь Арсению спуститься. Велисарий предложил свою, но ни один из них не сумел удержать священнослужителя. Несчастный грузно сверзился с забора и распластался в пыли. Затем подобрался, отряхнул рясу и с ощущением невероятного позора удалился, не проронив ни слова. В полумраке церкви за иконостасом он уронил лицо в ладони. Хуже нет ничего на свете, чем быть полным неудачником без надежды что-либо исправить.

А на площади Пелагия в полной мере оправдывала свою репутацию сварливицы. Ей было только семнадцать, но она была своенравной гордячкой, и даже мужчины ее побаивались: все же отец – доктор.

– Тебе не следовало этого делать, Велисарий, – говорила она. – Это жестоко и ужасно. Представь, каково ему теперь. Ты должен прямо сейчас пойти в церковь и извиниться.

Он посмотрел на нее с высоты своего громадного роста. Да, положение не из простых. Не поднять ли ее над головой? А может, стоит посадить ее на дерево – это, конечно, рассмешит толпу. Он знал, что мириться со священником, конечно, придется. Публика к нему заметно охладела, и он может никогда больше не собрать с них денег за свое представление. Как же поступить?

– Представление окончено, – сказал он, взмахнув руками, обозначая финал, – приду вечером.

Неприязнь сразу сменилась разочарованием. В конце концов, священник это заслужил, разве нет? А такое хорошее развлечение выпадает деревне не часто.

– Мы хотим посмотреть пушку! – крикнула одна старуха. Ее поддержали другие голоса:

– Хотим пушку! Мы хотим пушку!

Велисарий невероятно гордился своей пушкой. Это была старая турецкая кулеврина, такая тяжелая, что не поднять больше никому. Сделана из твердой латуни, а дамасский ствол обвит клепаными железными обручами, и на нем выдавлены дата – 1739 – и какие-то завитые буквы, которые никто не мог прочесть. Таинственная, необъяснимая пушка, обильная патина покрывала ее, сколько ни чисть. Велисарий уже много лет повсюду таскал ее с собой, и в этом тоже был какой-то секрет его титанической силы.

Он опустил глаза на Пелагию, все еще ждавшую ответа на свое требование извиниться перед священником, и произнес:

– Я схожу попозже, красавица, – а затем поднял руки и объявил: – Добрые жители деревни, если хотите посмотреть пушку, мне нужно, чтобы вы собрали старые ржавые гвозди, сломанные засовы, черепки горшков и камни с улиц. Достаньте мне это, пока я набиваю оружие порохом. О, и принесите мне кто-нибудь тряпку, побольше и получше.

Мальчишки в поисках камней смели всю пыль с улиц, старики полезли в сараи за старьем, женщины помчались за

мужними рубашками, уговорить выбросить которые долго не могли, и вскоре все опять собрались на большой взрыв. Велисарий всыпал в казенную часть громадную порцию пороха, торжественно утрамбовал его, отлично понимая необходимость продлить спектакль, забил тряпку и позволил мальчишкам засыпать горстями в ствол собранные боеприпасы. Он заткнул ствол еще одной рваной тряпкой, а затем спросил:

– Во что стреляем?

– В премьер-министра Метаксаса, – крикнул Коколис, который не стыдился своих коммунистических убеждений и в кофейне пространно критиковал диктатора и короля. Кто-то засмеялся, кто-то нахмурился, а некоторые подумали: «Ох уж этот Коколис».

– Стрельни в Пелагию, пока она яйца кому-нибудь не откусила, – предложил Никос, молодой человек, чьи домогательства та успешно сдерживала резкими замечаниями о его уме и честности вообще.

– Я в тебя выстрелю, – сказал Велисарий, – попридержи язык, когда здесь уважаемые люди.

– У меня есть старая ослица, костным шпатом болеет. Тяжело расставаться со старой подругой, но она совсем уж никудышная. Только жрет и падает, когда я грузу на нее поклажу. Из нее получится хорошая мишень, я сбуду ее с рук, и какая кутерьма подымется! – Это был Стаматис.

– Да чтоб у тебя девочки и бараны рождались за то, что

ты только подумал такой ужас! – воскликнул Велисарий. – Я что – турок, по-твоему? Нет, я просто выстрелю вдоль дороги, раз нет лучшей мишени. Теперь все отойдите. Посторонитесь, а дети пусть заткнут уши.

С актерским апломбом великан поджег фитиль упертого в стену орудия, подхватил его, словно карабин, и встал потверже, выставив вперед одну ногу и приладив пушку на бедре. Пала тишина. Фитиль горел и ярко брызгался искрами. Все затаили дыхание. Дети зажали уши руками, корчили рожицы, прикрывая один глаз и подскакивая то на одной ноге, то на другой. Когда огонь достиг запального отверстия, зашипел и исчез, повисло мучительное ожидание. Может, порох не занялся? Но вот – оглушительный рев, струя оранжевого и лилового пламени, громадное облако дыма с едким привкусом, великолепные фонтаны пыли, когда заряды врезались в дорогу, и протяжный стон боли.

Все застыли, не зная, что делать. Потом люди стали оглядывать друг друга: кого могло зацепить рикошетом? Стон повторился, и Велисарий, бросив пушку, рванулся вперед. Он разглядел фигуру, скорчившуюся в оседавшей пыли.

Позже Мандрас благодарил Велисария за то, что тот подстрелил его из турецкой кулеврины, когда он подошел к повороту дороги на входе в деревню. Но тогда он негодовал, что гигант нес его на руках, не позволив с достоинством прийти к дому доктора. Не очень-то приятно было терпеть, пока ему без обезболивающего удаляли из плеча гнутый гвоздь от

ослиной подковы. Ему не понравилось, что гигант его удерживал, пока доктор работал: боль терпеть Мандрас мог и сам. И не было ничего хорошего и полезного для хозяйства в том, что, пока не заживет рана, придется две недели не выходить в море на лов.

А поблагодарил он Мегало Велисария за то, что в доме доктора впервые обратил внимание на Пелагию, докторскую дочку. В какой-то неопределимый момент он осознал, что его бинтуют, длинные волосы девушки щекочут ему лицо, пахнет розмарином. Он открыл глаза и понял, что смотрит в пару других глаз, и они светятся беспокойством. «В тот момент, – любил говорить он, – я осознал свою судьбу». Правда, он говорил это, лишь когда бывал несколько навеселе, но, тем не менее, говорил всерьез.

Наверху на горе Энос, на крыше мира, Алекос услышал гул орудия и подумал: не война ли снова началась?

4. L'omosessuale²⁹ (1)

Я, Карло Пьеро Гуэрсio, пишу эти записки и хочу, чтобы их нашли после моей смерти, когда ни презрение, ни утрата доброго имени не смогут преследовать и пятнать меня. Жизненные обстоятельства делают невозможным, чтобы это завещание моей природы нашло свой путь в мир прежде, чем я испущу последний вздох, и раньше, чем приговор несчастья осудит меня носить его маску.

Я погружен в вечное, безграничное молчание и даже капеллану ничего не рассказал на исповеди. Я знаю заранее, что мне будет сказано: это извращение, мерзость в глазах Господа, я должен праведно сражаться, я должен жениться и вести жизнь нормального человека, у меня есть выбор.

Не рассказал я и врачу. Я знаю заранее, что меня назовут гомосексуалистом, скажут, что я странным образом влюблен в себя, болен и могу излечиться, что моя мать в ответе за то, что я так изнежен, хоть силен как бык и спокойно могу поднять над головой собственный вес, что я должен жениться и вести жизнь нормального человека, у меня есть выбор.

Что мог бы я сказать таким священникам и докторам? Я сказал бы священнику, что Бог создал меня таким, какой я есть, у меня не было выбора, и, вероятно, Он сделал меня

²⁹ Гомосексуалист (*ит.*).

таким намеренно; Он знает первопричину всех вещей, и поэтому, наверное, к лучшему то, что я таков, какой есть, даже если мы не можем знать, что есть лучшее. Я могу сказать священнику, что раз Бог – причина всего сущего, то и винить надо Бога, а не осуждать меня. И священник скажет: «Это дело дьявола, а не Бога», а я отвечу: «Разве не Бог создал дьявола? Разве Он не всеведущ? Как можно винить меня, когда Он знал, что это произойдет, с самого сотворения мира?» И священник отошлет меня к разрушению Содома и Гоморры и скажет, что тайны Господни недоступны нам. Он скажет: нам предписано плодиться и размножаться.

Я сказал бы врачу: «Я был таким с самого начала, природа слепила меня, как же я могу измениться? Как я могу возжелать женщину – это равносильно тому, чтобы полюбить анчоусы, к которым всегда питал отвращение. Я был в *Casa Rosetta*³⁰ и возненавидел его, мне стало дурно. Я чувствовал себя униженным. Я чувствовал себя предателем. Мне приходилось делать это, чтобы казаться нормальным».

И доктор скажет: «Как же это может быть естественным? Природа соблюдает свои интересы, заставляя нас множиться. А это – против природы. Природа хочет, чтобы мы плодились и размножались».

Это тайный сговор докторов и священников, которые разными словами повторяют одно и то же. Это медицинское богословие и богословская медицина. Я – шпион, давший под-

³⁰ Дом Розетты (*ит.*) – бордель.

писку о вечной секретности, я – единственный человек на свете, кто знает правду и кому, тем не менее, запрещено проносить ее. А правда эта весит больше вселенной, поэтому я подобен Атланту, навсегда согнувшемуся под гнетом, от которого хрустят кости и стынет кровь. В этом мире нет той атмосферы, в которой мне предназначено существовать, я – растение, задыхающееся от отсутствия воздуха и света, корни мои отсечены, а листья окрашены ядом. Ярываюсь от пожара любви, но нет никого, кто мог бы принять и взлелеять ее. Я иностранец в своей стране, я чужой в своей расе, ко мне питают отвращение, как к раковой опухоли, хотя я – просто плоть, как любой священник или врач.

Согласно Данте, подобные мне заключены в третьем поясе седьмого круга Ада в неподобающей компании с лихоимцами. Он дает мне пустыню обнаженных душ, иссекаемых огненными хлопьями, он заставляет меня бегать по кругу, вечно и тщетно, в поисках тех, чьи тела я осквернил. Понимаете, что получается: я был послан искать повсюду, только чтобы найти упоминание о самом себе. Меня не поминают почти нигде, но там, где я нахожу себя, меня осуждают. А как это примечательно, доктора и священники, что Данте пожалел нас, в то время как Господь – нет. Данте сказал: «Мне больно даже вспоминать о нем». И Данте был прав: я всегда бегу по кругу, тщетно ища тепла тел, презируемый Богом, который создал меня, и вся моя жизнь – пустыня и дождь из огненных хлопьев.

Да, я прочел все, ища свидетельств того, что существую, что я возможен. И знаете, где я нашел себя? Знаете, где я обнаружил, что я есть в другом, исчезнувшем мире, прекрасном и правдивом? В произведениях греков.

Смешно. Я – итальянский солдат, притесняющий единственный народ, чьи предки даровали мне право олицетворять совершеннейшую форму любви.

Я пошел в армию, потому что, признаю, мужчины там молоды и красивы. И еще потому, что мне подал эту мысль Платон. Наверное, я – единственный в истории солдат, взявший в руки оружие из-за философа. Понимаете, я искал занятие, в котором мое несчастье могло бы стать полезным, и я не знал о любви Ахиллеса и Патрокла и других подобных древних греков. Короче, я прочел «Пир» и нашел объяснение Аристофана, что существовало три пола; мужчины и женщины, которые любят друг друга, мужчины, которые любят мужчин, и женщины, которые любят женщин³¹. Это было откровением – понять, что я другого пола; в этой мысли имелся какой-то смысл. И я нашел объяснение Федра, что «если бы только существовал способ сделать так, чтобы государства или армии состояли из влюбленных и их возлюбленных; они были бы лучшими управителями своего города, воздержива-

³¹ Как повествует Аристофан в «Пире» Платона, некогда существа делились на три пола: мужской, женский и союз мужского и женского – андрогин. Андрогины, могучие и сильные, посягали на власть богов. Чтобы усмирить их гордыню, Зевс расщепил их на две половинки – мужскую и женскую, и с тех пор они ищут друг друга, стремясь вновь стать одним целым.

лись бы от любого бесчестия и соперничали друг с другом в благородстве; и сражаясь бок о бок, даже голыми руками они победят весь мир. Разве не предпочтет влюбленный быть на обозрении всего человечества, нежели предстать перед своим возлюбленным, если вдруг оставит пост или бросит оружие? Он будет готов умереть тысячу раз, нежели вынести это. Или кто покинет возлюбленного или подведет его в час опасности? Последний из трусов станет вдохновенным героем, равным храбрейшим, в такой момент; Любимый вдохновит его. То мужество, которое, как говорит Гомер, бог вдыхает в душу героев, Любимый всем существом своим передает влюбленному. Любовь заставит людей отважиться умирать за своих любимых – одна любовь».

Я знал, что в армии обрету тех, кого смогу любить, хотя никогда не коснусь. Я найду, кого любить, и меня облагородит эта любовь. Я не покину его в бою, он сделает меня вдохновенным героем. У меня будет, кого поражать, тот, чье восхищение даст мне то, чего я не могу дать себе сам, – уважение и благородство. Я отважусь умереть за него, и если погибну, буду знать, что я был мусором, который некий загадочный алхимик превратил в золото.

Это была дикая идея, романтическая и невероятная, и, как ни странно, ее удалось воплотить. Но в конечном счете она принесла мне неизмеримую печаль.

5. Человек, который сказал «нет»

Премьер-министр Метаксас обреченно сторбился в любимом кресле на вилле Кисирия и горько задумался над двумя невообразимыми проблемами своей жизни: «Что мне делать с Муссолини?» и «Что мне делать с Лулу?» Трудно понять, какая была непредсказуемее и болезненнее, но обе, хоть и в неравной степени, связаны с личной жизнью и политикой. Метаксас достал дневник и записал: «Этим утром я попытался наладить отношения с Лулу. До определенного момента все шло хорошо, но потом мы снова совершенно разругались. Она просто не понимает меня. Я знаю точно, кто ее подстрекает и затем предает. Я даже забыл о встрече с британским министром. Я оставался с ней до полудня. Мне так жаль ее. Несчастная девочка! Лулу, Лулу, дочь моя любимая! Мы бросились друг к другу в объятия и вместе рыдали над нашей судьбой».

Он никогда не мог разобраться, где правда в слухах о Лулу; казалось, Афины гудят, обсуждая легенды невероятнее историй о Зевсе в древние времена. Рассказывали о полицейском, потерявшем свои брюки и фуражку: и то, и другое потом нашли на верхушке фонарного столба. Была история о молодом человеке с «бугатти» и диких поездках в Пирей, и еще одна – о ее участии в английской игре под названием «сардинки»: что-то вроде прятков, в которой водящие

втискиваются в то же место, где остальные прячутся; кажется, Лулу обнаружили в шкафу в каком-то сложном переплетении с молодым человеком. Некоторые говорили, что она курит опиум и напивается вдребезги пьяной. Она знала все эти быстрые американские танцы, вроде танго (так неизящно и вульгарно, «танец» якобы из борделей Буэнос-Айреса), квикстепа, самбы и танцев с непереводаемыми идиотскими названиями, вроде джиттербага, в котором нужно неистово размахивать руками и ногами. Это весьма неприлично. Попахивает бесстыдством и невоздержанностью. Молодые люди так впечатлительны и столь склонны к причудам и модам незрелых цивилизаций, вроде Америки, так не расположены к порядку и к достоинству, что сопровождают естественное чувство *amour propre*³². Что же делать? Она всегда все отрицала или, еще хуже, отметала его беспокойство, смеясь и отмахиваясь. Видит бог, молодость бывает однажды, но в ее случае «однажды» – это слишком часто.

И она открыто отрицала и оспаривала его политику в обществе, прикосновение Иуды. Вот это и ранило так сильно – эта демонстрация дочерней нелояльности. Она говорила, что любит его. Он знал, что и в самом деле любит, – но почему же тогда высмеивает его Национальную молодежную организацию? Почему смеется шуткам о его маленьком росте? Почему она такая индивидуалистка, черт побери? Неужели она не понимает, что быть этакой повесой в юбке – значит,

³² Подобающей любви (*ит.*).

ставить под вопрос все то, чего он желает для Греции. Ну как он может бичевать плутократов, когда его собственная дочь общается и резвится с худшими из них? Как может рекомендовать дисциплину и самопожертвование?

Слава богу, он надел намордник на прессу, потому что у каждого журналиста в стране имеется любимая «история про Лулу». Слава богу, его министры слишком благоразумны, чтобы упоминать об этом, слава богу, его еще уважают, несмотря на эту заразу. Но это не мешает людям, вроде Грацци, масляно улыбаться и спрашивать: «А как поживает ваша дорогая дочурка Лулу? Говорят, она маленькая озорница? Ах, вот как нам, отцам, приходится страдать!» Разве может он не слышать эти смешки и шепотки? Что он управляет всей Грецией, но не может управиться с собственной дочерью? Кажется, даже Тайная полиция слишком обескуражена всем этим, чтобы докладывать о ее эскападах в деталях. Говорят, собирая вечеринки, хозяева умоляют гостей: «Не приводите Лулу!» Печаль и стыд слишком велики, чтобы их вынести.

Спокойствие сосен и яркий белый свет прожекторов снаружи будто сговорились: ощущение, что он стал узником за собственными железными воротами, стало только острее; он выполнил требования классической трагедии и создал обстоятельства, чтобы самому попасть в ловушку. Вся Греция сократилась до этой псевдовизантийской виллы с буржуазной мебелью по той простой причине, что он держит судьбу

и честь любимой страны на ладони. Он взглянул на свои руки и подумал, что они маленькие, как и он сам. На мгновение ему захотелось, чтобы он сделал выбор раньше, ушел в отставку с пенсией полковника и спокойно проводил дни в каком-нибудь безвестном уголке, где можно безупречно жить и умереть.

Мысли о смерти приходили в последнее время довольно часто, поскольку он чувствовал: тело стало его подводить. Ничего особенного – никаких угрожающих симптомов: просто он ощущал, что обессилел и готов умереть. Он знал, что такая отрешенная и покорная печаль, такое безропотное спокойствие охватывают тех, кто стоит на пороге смерти; и эта отрешенность, это спокойствие росли в нем, а обстоятельства принуждали собрать силу, целеустремленность и благородство, каких прежде ему не требовалось никогда. Иногда он хотел передать бразды правления в другие руки, но знал, что судьба выбрала его главным действующим лицом трагедии и у него нет иного выбора – только стиснуть рукоять меча и нести его. «Так много я должен был сделать», – подумал он, и вдруг ему стало ясно, что жизнь могла бы принести больше радости, если бы только тридцать лет назад он знал, какой диагноз ему поставит врач в казавшемся тогда далеким будущем, что медленно, но злобно разворачивалось перед ним и становилось неизбежным, тяжелым и нестерпимым настоящим. «Если бы я прожил свою жизнь с сознанием этой смерти, все было бы по-другому».

Он перенесся мыслями к невероятным превратностям своей карьеры и подумал, проявит ли история к нему милосердие. Долгий путь от Прусской военной академии в Берлине; казалось, это было не с ним – тогда он учился восхищаться тевтонским чувством порядка, дисциплины и серьезности, теми качествами, которые теперь старался по капле влить своей родной земле. Он даже ввел самую первую грамматику народного языка и сделал ее обязательной в школах, исходя из теории, что изучение грамматики развивает логическое мышление и, следовательно, обуздывает дикий, безответственный индивидуализм греков.

Он вспомнил фиаско Великой войны, когда Венизелос хотел присоединиться к союзникам, а король желал остаться нейтральным. Как он убеждал их, что Болгария воспользуется удобным случаем для вторжения, если Греция присоединится; как благородно отказался от поста начальника Генштаба, как благородно воспринял ссылку. Лучше не вспоминать попытку переворота 1923 года. И сейчас казалось, что Болгария в своих стараниях заполнить образовавшийся после турок вакуум может действительно вторгнуться, ухватившись за возможность, на этот раз предоставленную Италией.

Он вспомнил забастовку рабочих табачной фабрики в Салониках – двенадцать убитых. Это было его поражением. Воспользовавшись беспорядками, он уговорил короля приостановить действие конституции, чтобы помешать комму-

нистам; убедил короля назначить его премьер-министром, несмотря на то что был лидером крайне правого крыла партии в стране. Но почему же он сделал это? «Метакса, – сказал он себе, – история скажет, что это был оппортунизм, что ты не смог добиться успеха демократическими средствами. Не найдется никого, кто скажет правду от моего имени, а правда в том, что это был кризис и наша демократия была слишком изнеженной, чтобы справиться с ним. Легко говорить, как должно было быть, – труднее признать неумолимую силу необходимости. Я был воплощением необходимости, только и всего. Не будь меня, был бы кто-то другой. По крайней мере, я не допустил никакого германского влияния, хотя, видит бог, они чуть не захватили экономику. По крайней мере, я сохранил связи с Британией; по крайней мере, я старался объединить славу Средневековья и древних цивилизаций в новую силу. Никто никогда не сможет сказать, что я действовал, не заботясь о Греции. Греция была моей верной единственной женой. Возможно, история запомнит меня как человека, запретившего чтение погребальной речи Перикла³³ и оттолкнувшего от себя крестьянство тем, что ввел ограничения на число коз, которые уничтожали наши леса. О господи, возможно, я был всего лишь нелепым маленьким человечком.

³³ Метаксас установил диктатуру, а Перикл (ок. 490–429 до н.э.), афинский стратег, политик и полководец, способствовавший расцвету демократии в Афинах, в своей речи выступал с демократических позиций.

Но я сделал что мог, я сделал все, чтобы подготовиться к этой войне, которой все еще пытаюсь избежать. Я построил железные дороги и укрепления, я призвал резервистов, я подготовил людей выступлениями, я продолжал политику дипломатии, когда это уже становилось смешным. Пусть история скажет, что я был человеком, который сделал все возможное для спасения родной земли. Все кончается смертью».

Но нет сомнения в том, что он слишком одержим чувством истории, тем, что на него возложена миссия спасителя. Не может быть никого другого – он единственный, кто может взять греческую нацию за шкуру и тащить, пиная и увещевая, к нужным воротам. Он – врач, который вынужден делать больно, зная, что после проклятий и протестов пациентов настанет время и благодарные возложат на него венец. Он всегда делал то, что считал правильным, но, возможно, в итоге им двигало тщеславие, простая и постыдная мания величия.

Однако теперь он понимал, что душа его брошена в пламя, а характер испытывается в очаге судьбы. Станет ли он спасителем Греции? Или тем, кто мог спасти Грецию, но не спас? Или тем, кто не мог спасти Грецию, но приложил величайшее усилие, чтобы спасти ее честь? Вот что это – превыше всего вопрос личной и национальной чести, потому что главное, чтобы Греция прошла через это испытание без единого обвинения в низости. Когда солдаты убиты, а страна

опустошена и разрушена, только честь выживает и выдерживает испытание. Именно честь вдохнет жизнь в мертвое тело, когда минуют смутные времена.

Ну не парадоксально ли, что судьба так насмехалась над ним? Разве не избирал он для себя такие роли, как «Первый крестьянин», «Первый рабочий», «Отец нации»? Разве не окружал себя напыщенными атрибутами современного фашиста? «Режим 4 августа 1936 года», «Третья Эллинская Цивилизация должна перекликаться с Гитлеровским Третьим Рейхом». Национальная молодежная организация проводила парады, размахивала знаменами так же, как и гитлерюгенд. Разве не презирал он либералов, коммунистов, парламентаризм так же, как их презирали Франко, Салазар, Гитлер и Муссолини? Разве не сеял он вражду между левыми, согласно учебнику? Что могло быть легче при их нелепой фракционности и стремлении предать друг друга, обосновывая это ложным сознанием и любым из избытка предложений об идеологической нечистоте? Разве не осуждал он плутократию? Разве не знала Тайная полиция точный запах и химический состав любого подрывного пердежа в Греции?

Так почему же международные братья покинули его? Почему Риббентроп шлет ему успокаивающие заверения, которым нельзя верить? Почему Муссолини организует инциденты на границе и дипломатические тупики? Что случилось? Как получилось, что он, ловя течение времени, достиг таких высот, только чтобы обнаружить, что стоит лицом к ли-

цу с величайшим в современной истории отечества кризисом; кризисом, созданным теми самыми людьми, которых он считал учителями и образцами для подражания? Не парадоксально ли, что сегодня он может положиться только на британцев – парламентариев, либералов, демократов и плутократов?

Премьер-министр Метаксас записал на листе бумаги различия между собой и другими. Он не расист. Этого мало. Его поразила мысль, казалось бы, совершенно очевидная: другие желали империй и создавали их, а он всегда хотел лишь объединения всего греческого народа. Он хотел Македонию, Кипр, острова Додеканес и, даст бог, Константинополь. Он не желал Северной Африки, как Муссолини, или целого мира, как Гитлер.

Поэтому, возможно, другие смотрели на него и считали, что в нем нет тщеславия, нет стремления к величию, а это указывает на отсутствие той необходимой для *Übermensch*³⁴ «воли к власти»; он – пудель среди волков. В новом мире, где сильнейшие имеют право господствовать, потому что они сильнейшие, где сила – показатель естественного превосходства, где естественное превосходство дает моральное право подразделять другие нации и меньшие племена, он – аномалия. Он хотел только своей нации. Таким образом, Греция стала естественной мишенью. Метаксас написал слово «пудель», а потом зачеркнул его. Он посмотрел на два слова –

³⁴ Сверхчеловека (нем.).

«расизм» и «империя».

– Они думают, что мы низшие, – пробормотал он, – они хотят втащить нас в свою империю.

Отвратительно и оскорбительно, невыносимо. Он соединил эти два слова скобкой и написал рядом «НЕТ». Поднялся и подошел к окну взглянуть на мирные сосны. Облоко-тился на подоконник и задумался о величественном неведении этих дремлющих деревьев, посеребренных луной. Потом вздрогнул и выпрямился. Он принял решение; будут еще одни Фермопилы. Если три сотни спартанцев могли противостоять пяти миллионам храбрейших персов, чего же сможет добиться он с двадцатью дивизиями против итальянцев? Если б только подготовиться к ужасному и бесконечному одиночеству смерти было так же легко. Если б только так же легко можно было найти общий язык с Лулу.

6. L'omosessuale (2)

Я, Карло Пьеро Гуэрсио, свидетельствую, что в армии я нашел свою семью. У меня есть отец и мать, четыре сестры и три брата, но семьи у меня не было с начала половой зрелости. Мне приходилось жить среди них тайно, как прокаженному, скрывающему свою болезнь. И не их вина, что моя жизнь стала трагедией. Мне приходилось танцевать с девушками на праздниках, флиртовать с ними на школьном дворе и во время вечерних *passaggiata na piazza*³⁵. Я был вынужден отвечать бабушке, когда она спрашивала, на какой девушке я хотел бы жениться и кого бы мне хотелось – сыновей или дочерей. Мне приходилось с восхищением слушать приятелей, описывающих замысловатости женских половых органов, я должен был научиться рассказывать невероятные истории о том, что сам делал с девушками. И я выучился быть более одиноким, чем это вообще возможно.

В армии велись те же непристойные разговоры, но это был мир без женщин. Для солдата женщина – воображаемое существо. Позволительно быть сентиментальным к матери, но и только. Для других случаев существуют шлюхи в солдатских борделях, вымышленные или неверные подружки, оставшиеся дома, или девушки, которым свистят на улице.

³⁵ Прогулок на площади (*ит.*).

Я не женоненавистник, но вы должны понять, что для меня общество женщин болезненно, потому что напоминает мне о том, чем я не являюсь, но мог быть, если бы Господь не сунул нос в утробу моей матери.

Вначале мне очень повезло. Меня послали в Албанию, а не в Абиссинию или Северную Африку. Там не было настоящих боев, и мы блаженно забывали о том, что Дуче может отдать приказ о захвате Греции. Более вероятным казалось, что нас скорее впутают в историю с югославами и что они окажутся такими же никчемными и трусливыми, как албанцы. Общеизвестно, что югославы ненавидят друг друга больше, чем любого иностранца или захватчика.

Скоро стало ясно, что повсюду хаос. Только я устроился и завел друзей в одной части, как мною «пополнили» другую, а потом перевели еще в одну. У нас почти не было транспорта, и нас заставляли маршировать от югославской границы к греческой и обратно по прихоти высшего командования. Кажется, я побывал в семи частях, прежде чем окончательно устроился в дивизии «Джулия». Греческая кампания потерпела провал по множеству причин, и одна из них – личный состав перебрасывали с места на место так часто, что не было возможности развить хоть какое-то *esprit de corps*³⁶. Вначале у меня просто не было времени, чтобы завести себе друга – Ионафана для Давида.

Я наслаждался ежесекундным пребыванием в дивизии

³⁶ Здесь: чувство товарищества (фр.).

«Джулия». Никакой гражданский не поймет радости быть солдатом. Это непреложный факт. А еще – и речь здесь не о сексе – солдаты начинают любить друг друга; это такая любовь – и снова речь не о сексе, – которую не с чем сравнить в гражданской жизни. Все молоды и сильны, переполнены жизнью и все вместе – в дерьме. Постепенно узнаешь любовью оттенки настроения друг друга; знаешь наверняка, что сейчас кто-нибудь скажет; точно знаешь, кто и сколько будет смеяться и какой именно шутке; можешь определить в темноте на ощупь, чье это лицо; угадать, чье снаряжение висит на спинке стула, хотя оно такое же, как у всех; можешь сказать, чья щетина в умывальнике; знаешь наверняка, кто махнет морковь на картошку, пачку сигарет на пару носков, открытку с Сиеной на карандаш. Привыкаешь к открытости друг перед другом, ничто не скрывается. Если желания совпадают.

Мы все были молоды. Никогда мы не будем красивее, никогда не станем тощее и сильнее, никогда не будем снова так брызгаться в воде, никогда больше не почувствуем себя такими непобедимыми и бессмертными. Мы могли проходить маршем по пятьдесят миль в день, распевая походные и непристойные песни, идя строевым или просто шагая в ногу, а на наших шлемах взметались блестящие черные петушиные перья. Мы могли, пьяные как сапожники, отлить вместе на колеса полковничьей машины; не стыдясь, справить большую нужду в присутствии друг друга; могли читать письма

друг друга, и казалось, что мать каждого солдата пишет всем нам; мы могли под проливным дождем всю ночь копать траншею в каменистой земле и уйти на рассвете, даже не поспав в ней; на боевых стрельбах могли втихаря бросаться минометными минами в кроликов; мы могли купаться голые и прекрасные, как Феб, и кто-то указывал на чей-нибудь член и спрашивал: «Эй ты, почему не сдал в оружейку?» – а мы все смеялись и не придавали этому никакого значения, и кто-нибудь еще говорил: «Смотри, чтобы не произошел выстрел по халатности», а объект шутки отвечал: «Не дожدهшься!»

Мы были новы и прекрасны, мы любили друг друга больше, чем братья, – наверняка. Все портило одно – никто из нас не знал, для чего мы находимся в Албании, никто не имел ни малейшего представления о том, что мы восстанавливаем Римскую империю. Часто мы дрались с членами фашистских легионов. Они были хвастливые, никудышные и тупые, а многие из нас были коммунистами. Никто не против умереть за благородное дело, но нас преследовало не имевшее разумного объяснения ощущение, что любить жизнь бессмысленно. На мой взгляд, мы были как гладиаторы, готовые выполнить свой долг, готовые быть стойками, но вечно сбитые с толку. Граф Чиано играл в гольф, Муссолини вел вендетту с кошками, а мы находились в не обозначенной на карте дыре, попусту тратя время, пока оно все не вышло и нас не бросили в плохо управляемый бой против народа, который сражался, как бог.

Я не циник, но я знаю точно, что история – это пропаганда победителей. Знаю, что если мы выиграем войну, появятся потрясающие рассказы о зверствах британцев, напишут целые тома, чтобы показать неизбежность и справедливость нашего дела, соберут неопровержимые доказательства, чтобы раскрыть тайный сговор еврейских плутократов, в массовых захоронениях на окраинах Лондона обнаружат горы костей. Равно, я знаю, противоположное будет иметь место, если победят британцы. Я знаю, Дуче разъяснил, что греческая кампания стала убедительной победой Италии. Но он там не был. Он не знает, как это было. Он не знает, что безусловная правда в том, что история должна состоять только из анекдотов о пойманных в нее людишках. Ему следует знать: правда в том, что мы несли тяжелые потери, пока из Болгарии не подошли немцы. Он никогда не признает этого, потому что «правда» принадлежит победителям. Но я был там, и я знаю, что происходило в моей доле войны. Эта война стала для меня жизненным опытом, сформировала весь мой образ мыслей; я никогда не испытывал более глубокого личного потрясения. Война стала тяжелейшей и сокроуеннейшей трагедией моей жизни. Она уничтожила мой патриотизм, изменила мои идеалы, заставила сомневаться в самом понятии долга, она ужаснула и опечалила меня.

Сократ сказал, что гений трагедии – такой же, как и гений комедии, но его высказывание остается необъясненным, потому что люди, которым он это говорил, либо спали, либо

были пьяны. Вроде тех штучек, которые аристократы говорят друг другу на вечеринках; но я могу спокойно доказать, что это – правда, просто рассказав о том, что происходило во время той кампании в Северной Греции.

Позвольте мне начать с того, что я, Карло Пьеро Гуэрсио, вступив в дивизию «Джулия», влюбился в молодого женатого капрала, который принял меня как своего лучшего друга, совсем не подозревая, что всецело населяет мои лихорадочные сны. Его звали Франческо, он был из Генуи – с абсолютным генуэзским выговором и любовью к морю, от которой в Эпире никакого проку. Несомненно, ему следовало служить во флоте, но перекошенная логика времени постановила, чтобы он пошел добровольцем на флот, был направлен в карабинеры, а очутился в армии. Он прибыл через Альпийский полк, полк берсальеров, не считая двух дней у гренадеров.

Абсолютно красивый мальчик. Его гладкая кожа была смуглее моей, такая бывает у южан, а сам – стройный и ладный. Помню, у него было только три волоска посередине груди, а ноги – совершенно гладкие. Можно было видеть каждый мускул его тела, и меня особенно занимали те, что бьются видны только у ладно скроенных людей, – параллельные дорожки мышц на предплечьях и по краям живота, изгибающиеся к паху. Он был похож на изящное худощавое животное с кошачьей грацией, в котором чувствуется огромная, небрежная сила.

Больше всего меня привлекало его лицо. Черная непослушная прядь падала ему на глаза. Они были очень темные, скулы выдавались, как у славянина. Широкий рот, губы сложены в постоянную иронично-кривоватую усмешку, а этрусский нос почему-то имел легкую горбинку. Руки у него были крупные, с тонкими приплюснутыми пальцами, и я слишком легко мог себе представить, как они скользят по моему телу. Я раз видел, как он поправлял маленькое звено тончайшей золотой цепочки, и могу поручиться, что пальцы его обладали всей безукоризненной точностью вышивальщика. Ногти были такими изящными, какие только можно вообразить.

Понятно, что нам, солдатам, часто приходилось в той или иной ситуации обнажаться в присутствии друг друга, и я узнал и запомнил до последней черточки каждую часть его тела; но я протестую против обвинений в извращенности и непристойности, которые могут выдвинуть против моей памяти, и оставляю эти воспоминания себе. Для меня в них нет непристойности, они драгоценны, изысканны и чисты. В любом случае, никто не узнает, что они значат. Они — для личного музея, который каждый из нас содержит в мыслях и куда не допускаются даже эксперты или европейские ценосцы.

Франческо был запальчивым, смешным и абсолютно непочтительным острословом. Он не скрывал, что не уважает никого, и веселил нас, изображая петушиные ужимки Дуче и фиглярское пруссачество Адольфа Гитлера. Он мог

представить жесты и интонации Висконти Праска и произнести речь в его манере – полную непомерного оптимизма, диких планов и подбострастных ссылок на иерархию. Франческо, всеобщего любимца, абсолютно не заботило, что он не получает никакого повышения по службе. Он подобрал полевого мышонка и назвал его Марио; часть времени мышонок жил у него в кармане, но когда мы выступали на марш, то обычно видели, как Марио высовывает усики из ранца и умывает мордочку. Ел он кожуру фруктов и овощей и ужасно любил кожу. На верхней части моего ботинка до сих пор осталась круглая дырочка.

Солдаты не знали почти ничего о том, что происходит у начальства. Мы получали столько приказов и контрприказов, что со временем перестали выполнять их вообще, зная, что их почти сразу же должны отменить. Албания была чем-то вроде летнего лагеря без удобств, и мы предполагали, что эти приказы преследовали единственную цель – попытаться занять нас делом – и не имели серьезного значения.

Однако, оглядываясь назад, понимаешь, что конечной целью был захват Греции; знаки этого были повсюду, если бы мы только их замечали. Прежде всего – эта пропаганда о Средиземноморье, мол, это «*Mare Nostrum*»³⁷, а также то, что все наше дорожное строительство, считавшееся благодеянием албанцам, не производило ничего, кроме автострад в направлении греческой границы. Во-вторых, войска нача-

³⁷ «Наше море» (ит.).

ли распевать строевые песни неизвестного происхождения и анонимного авторства со словами, вроде «Мы выйдем к Эгейскому морю, захватим Пирей и, если все будет хорошо, возьмем и Афины». Мы поносили греков за предоставление убежища тарабарскому королю Зогу, а газеты были полны сообщениями о том, что британцы якобы атаковали наши корабли из греческих территориальных вод. Я говорю «якобы», потому что сегодня не верю, будто это действительно происходило. У меня есть приятель на флоте, который говорил, что, насколько ему известно, мы не потеряли ни одного корабля.

Я также не верю больше в историю о том, что греки убили Даута Хоггию. Думаю, это сделали мы сами и постарались обвинить греков. Ужасно, что я так говорю, потому что видно, насколько я утратил патриотическую веру, но дело в том, что я знаю теперь взгляд греков на эти события – узнал от *dottore*³⁸ Янниса, когда пришел к нему с нарывающим ногтем на ноге. Оказывается, этот Хоггия вовсе не был албанским патриотом-ирредентистом. Он был приговорен к двадцати годами за убийство пяти мусульман, кражу скота, разбой, вымогательство, покушение на убийство, грабеж, ношение запрещенного оружия и изнасилование. А нас старались одурачить, чтобы мы считали такого человека мучеником. Нам не говорили, что греки арестовали двух албанцев за убийство этого человека и ждали просьбы об их выдаче.

³⁸ Доктор (*ит.*).

Как бы то ни было, я поражаюсь сейчас, как вся итальянская нация могла быть столь наивной: какое нам было дело до албанцев, когда мы только что захватили их страну и всем стало ясно, что их интересует только одно – убивать друг друга. Те двое, что убили «патриота» Хоггию, вероятно, отравили его, а затем отрезали ему голову, что, по албанским меркам, еще мягко.

Множество вещей заставило меня утратить веру, но я предам бумаге событие, касавшееся Франческо и меня, и оно ясно показывает, что войну начала наша сторона, а не греки. Если войну выиграем мы, эти факты наверняка никогда не выйдут на свет, потому что все записи будут изъяты. Но если мы проиграем, может быть шанс, что мир узнает правду.

Достаточно трудно жить в согласии с самим собой, когда ты – сексуальный отщепенец, но еще тяжелее, когда по долгу службы совершаешь самые отвратительные и мерзкие поступки. Я часто вижу сейчас знаки надвигающейся смерти, и ниже вы найдете мои признания вины, за которую священник уже отпустил мне грех, но она никогда не будет прощена ни греками, ни семьями итальянских солдат, кого это коснулось.

7. Крайние средства

Отец Арсений горько размышлял за иконостасом: как же идти ему к людям, утешая страждущих и умирающих, разрешая несогласие, сея слово Божье, отстаивая воссоединение Греции, когда стало очевидным, что он больше не внушает никакого уважения. На минуту он задумался над романтической возможностью исчезнуть: он мог бы уехать в Пирей и служить там конторщиком, можно стать рыбаком, можно уехать в Америку и начать все заново. Его позабавило, когда он вообразил себя лишенным этих нелепых складок са-ла, распеваящим похабные частушки в афинских борделях, потягивающим «коккинелли» и прельщающим девушек. И наоборот, представил себе, как находит уединение в горах Эпира, получает пищу от воронов и достигает великой святости. Он подумал о чудесах, которые могли бы сотворяться его именем, и натолкнулся на неприятную мысль: наверное, он стал бы главным угодником всех неприлично жирных. А может, вместо этого он мог бы писать великолепные стихи и стать знаменитым и уважаемым, как Костис Паламас? А почему и не больше? Он мог бы стать новым Гомером. За иконостасом загромыхал его глубокий бас: «С гневом узрел я, сколь низки создания света, в сравнении с нами, богами; нас обвиняют во зле (сверх наших худших ожиданий), коим распутство безмерное их же самих обуяло». Он сбился и за-

молчал, наморщив лоб; дальше должен быть кусок про Эгисфа или про то, как Афина беседует с Зевсом? «Дитя мое, – возразил Зевс-громовержец, – каким же резким суждением позволяешь слетать с твоих губ...» Сдержанный кашель из главного придела церкви прервал его. Он торопливо собрался с мыслями, почувствовав, как краска ужасного смущения заливает его уши и шею, и сел совершенно неподвижно. Его поймали за беззастенчивым актом декламации фантазий, и теперь жители деревни будут говорить, что он тронулся. Он услышал шарканье шагов, украдкой выглянул из-за ширмы и увидел, что кто-то оставил ему каравай хлеба. Чмокая губами, он почувствовал, как ему хочется, чтобы к хлебу добавилось и немного сыра. Послышались еще шаги, и он быстро спрятался, как шаловливый ребенок. Шаги удалились, он глянул через дырочку и увидел, что кто-то оставил большой кусок мягкого и сочного сыра. «Чудо, – сказал он про себя. – Спаси, Господи». Он смиренно попросил немного баклажанов и бутылочку масла, но был вознагражден не еще одним чудом, а парой тапочек. «Господи мой Боже, – произнес он, глядя на потолок, – яко превратны деяния твои».

Постепенно у дверей церкви набралось изрядное количество даров, которые жители оставляли в знак извинения. Отец Арсений с наивной алчностью наблюдал в дырку, как за рыбой следовали овощи и вышитые носовые платки. Он начал замечать, что набирается внушительное количество «ромы» и попенял себе: «Как? Неужели они все думают, что я

пьяница?» Он начал высчитывать, на сколько можно растянуть этот запас, если выпивать по две бутылки *per diem*³⁹. Потом – на сколько, если по три. Для математического развлечения и умственной тренировки он стал вычислять результат, если по три и пять восьмых в день, но сбился и был вынужден начать сначала. Куча тем временем продолжала расти, а ему уже настоятельно требовалось помочиться. Он беспокойно заерзал и стал потеть. Возникла ужаснейшая дилемма: или он выходит из церкви, и в этом случае его присутствие может отпугнуть людей от подношения даров, или же придется сидеть здесь в безысходном отчаянии до тех пор, пока не удостоверится, что поток покаянных подарков иссяк. Он начал горячо сожалеть о выпитой перед выходом из дома бутылке. «Это возмездие Господне пьянствующим, я теперь и капли в рот не возьму», – думал он и молился святому Герасиму об облегчении.

По завершении молитвы его посетило вдохновение. У входа набрался большой запас бутылок. Он напряженно прислушался, не приближаются ли шаги, не услышал ничего и выскользнул из-за ширмы так проворно, насколько позволяли его размеры. Резво подбежал вперевалку к выходу, тяжело дотянулся до бутылки и вернулся в свое укрытие. Он вытащил зубами пробку и задумался над еще одной проблемой: для того чтобы использовать бутылку, она должна быть пустой. А что делать с вином? Досадно же выливать. Запроки-

³⁹ В день (*лат.*).

нув голову, он вылил содержимое бутылки в горло. Ручейки сладкой жидкости сбегали на его бороду и рясу. Он осмотрел бутылку, обнаружил несколько оставшихся капель и размашисто вытряс их в рот.

Отец Арсений глянул в дырку, не слышит ли его кто, задрал рясу и выпустил в бутылку внушительную струю мочи. Она застучала о стеклянное дно, потом заплескалась и зашипела, наполняя бутылку. Отец Арсений с тревогой отметил, что по мере сужения горлышка сосуд наполнялся с возрастающей скоростью. «Бутылки следует делать единообразно цилиндрическими», – подумал священник, и тут же был захвачен врасплох. Он втер ногой выплески в пыль на полу и понял, что придется сидеть в церкви, пока не высохнут влажные пятна на рясе. «Священник, – подумал он, – не может показаться на людях описанным». Он поставил бутылку с мочой на пол и снова уселся. Кто-то вошел и оставил ему пару носков.

Прошло четверть часа – пришел Велисарий, надеявшийся извиниться лично. Он заглянул на колокольню, в главный придел и уже собрался уходить, когда услышал из-за ширмы протяжный и булькающий звук отрыжки.

– Патир, – позвал Велисарий. – Я пришел извиниться.

– Уходи, – раздался нетерпеливый ответ, – я пытаюсь молиться.

– Но, патир, я хочу извиниться и поцеловать твою руку.

– Я не могу выйти. По разным причинам.

Велисарий поскреб голову:

– По каким причинам?

– По религиозным. Кроме того, мне нездоровится.

– Привести доктора Янниса?

– Нет.

– Я извиняюсь, патир, за то, что сделал, и чтобы все поправить, оставляю тебе бутылку вина. Буду молить Господа о прощении.

Велисарий покинул церковь, вернулся в дом доктора, чтобы посмотреть, как дела у Мандраса, и обнаружил, что тот глазает на Пелагию просто с собачьим обожанием. Великан пошел сказать доктору, что священнику нездоровится.

Отец Арсений понял, что его решение проблемы раздувшегося пузыря само служит причиной дальнейшего переполнения. После ухода Велисария он опорожнил еще одну бутылку и заполнил ее превращенным продуктом, как и предыдущую. В этот раз его прицел, расчет и определение верного момента остановки были лишены даже сомнительной точности предпринятого ранее. Последовали дальнейшее втирание пакости ногой в пыль и еще большее увлажнение одежды. Арсений в изнеможении уселся и почувствовал, что его начинает тошнить. Он грузно сполз с табуретки, ушибив копчик, и через двадцать минут настоятельная необходимость опустошить и наполнить еще одну бутылку вновь пробудила его. Он поклялся остановиться, прежде чем сужающееся горлышко выдаст еще один рискованный результат,

но к этому моменту его уже так угнетало высокое давление, что он снова допустил в своем расчете промах. Роковой.

В прозрачном свете полудня доктор Яннис направлялся к церкви. В будни он носил одежду, которую крестьяне надевали по праздникам или в церковь, — запачканный черный костюм, сверкающий заплатами, рубашку без воротничка, черные ботинки, украшенные пылью и потертостями, и широкополую шляпу. Он тербил усы, задумчиво посасывая трубку, и делил свое внимание, размышляя одновременно о разграблении острова крестоносцами и о том, что собирается сказать священнику. Ему виделась следующая сцена.

Он скажет: «Патир, я глубоко сожалею об оскорблении, нанесенном вам сегодня утром», а священник ответит: «Неожиданно слышать это от неверующего человека», а он скажет: «Но я убежден, что к священнику должно относиться с уважением. Священник необходим деревне, как море острову. Пожалуйста, отобедайте с нами завтра. Пелагия приготовит барашка с картофелем *fournò*⁴⁰. Еще я приглашу учителя. Между прочим, я с огорчением узнал, что вам нездоровится. Могу я чем-нибудь помочь?»

Но когда он вошел в церковь, тут же понял: такой разговор, вероятнее всего, не состоится. Из-за ширмы слышались стенания и рычание.

– Патир, – позвал он, – с вами все в порядке? Патир?

Послышался еще один жалобный и бессильный стон, и

⁴⁰ Печеный (фр.).

раздался такой звук, будто вырвало собаку. Учитывая опыт рвоты бесчисленных пациентов, доктор отчетливо представил, что эта должна быть преобладающе желтого цвета. Он постучал костяшками пальцев по ширме и спросил:

– Патир, вы там?

– О Боже, Боже... – простонал священник.

Перед доктором встала трудноразрешимая проблема. Дело в том, что за ширму могли проходить только посвященные. Он давно отказался от религии в пользу маховской разновидности материализма, но, тем не менее, чувствовал, что запрета нарушить не может. Подобное табу нельзя с легкостью отбросить даже тому, кто не питает доверия к его предписанию. Войти туда для него было возможно не более, чем предложить монахине переспать. Он постучал настойчивей:

– Патир, это я, доктор Яннис.

– Доктор, – запричитал священник, – повержен я при-
скорбно. О Господи, почто сотворил ты человецех во тщете? Помогите мне, во имя милосердия Господня.

Доктор восслаг покаянную молитву Богу, в которого не верил, и шагнул за ширму. Там он узрел беспомощно раскинувшегося навзничь в луже мочи и рвоты священника. Один его глаз был закрыт, из другого струились слезы. С бесстрастным удивлением доктор отметил, что рвота была скорее белая, чем желтая, и ярко контрастировала с унылым цветом рясы.

– Вам нужно подняться, – сказал он. – Можете опереться

на мое плечо, но, боюсь, я не смогу вас нести.

Далее последовала неравная, невозможная борьба, во время которой щупленький доктор пытался исхитриться и поднять толстого церковника. Очень быстро он убедился в тщетности усилий и выпрямился, отметив присутствие трех бутылок с мочой в этом святом месте. Из профессионального любопытства он поднял одну на свет и осмотрел – нет ли полосок слизи, что указывало бы на инфекцию уретры. Чистая. Он заметил, что испачкал руки рвотой. Некоторое время доктор разглядывал их; черта с два он вытрет их о свои брюки, и будь проклят, если вытрет о ширму. Доктор нагнулся и обтер руки о рясу священника. И пошел за Велисарием.

Вот так получилось, что епитимья Велисария, утром подвергнувшего священника оскорблению, состояла в том, что он должен был тащить колоссальный груз к дому доктора. Возможно, это было самым титаническим подвигом силы и решимости из всех, что ему приходилось совершать прежде. Он дважды пошатнулся и один раз чуть не упал. После этого в руках и спине у него долго не проходило такое ощущение, будто он держал целую вселенную: он понял, что должен был испытывать святой Христофор после того, как перенес через реку Господа нашего.

Он сидел в тени, потев и задыхаясь, и прислушивался к весьма тревожным скачкам сердца, а Пелагия тем временем потчевала его лимонным соком, подслащенным медом и, в свою очередь, угощалась улыбками Мандраса, повер-

нувшегося на другой бок, чтобы наблюдать за ней. Пелагия чувствовала его взгляд, как жаркую ласку, и понимала, что именно он ее так смущает, заставляя спотыкаться о собственные ноги и, кажется, больше чем обычно вертеть бедрами. По правде сказать, ее попытки удержать бедра на месте и вызывали трудности с ногами.

В доме доктор заставлял священника кружка за кружкой пить воду – единственный действенный способ лечить алкогольное отравление, который он знал. Его неприлично бесил моральный облик пациента, и мысленно доктор произносил монолог следующего содержания: «Священник, безусловно, должен подавать пример лучшего поведения, не так ли? Как не стыдно напиваться днем до такого состояния? Как может человек рассчитывать сохранить свою репутацию в здешних местах, будучи таким жадиной и пьяницей? Я не припомню худшего священника, а уж у нас бывали такие, что вообще бог знает что». Он морщился и досадливо крякал, стирая с рюссы следы рвоты, а потом перенес свое раздражение на козленка Пелагии, который вошел в комнату и вскочил на стол.

– Тупая скотина! – закричал доктор, а козленок дерзко взглянул на него щелочками зрачков, как бы говоря: «По крайней мере я не пьяница. Я всего лишь озорник».

Доктор оставил оцепенелого пациента и присел к столу. Побарабанил по столу ручкой и написал: «В 1082 году бесчестный нормандский барон по имени Роберт Гвискард попытался захватить остров, но встретил крайне решитель-

ное сопротивление отрядов ополчения. Мир освободился от несносного присутствия барона, когда его в 1085 году прикончила лихорадка, и единственный его след на земле – то, что в его честь был поименован Фискардо, хотя история не объясняет, каким образом “Г” трансформировалось в “Ф”. Другой нормандец, Богемунд, щеголяя благочестием, обретенным во время крестового похода, из которого он незадолго до этого вернулся, грабил остров с величайшей и непростительной жестокостью. Следует напомнить читателю, что Константинополь первоначально разграбили крестоносцы, а не мусульмане, что могло бы породить устойчивый скептицизм в отношении ценности благородного дела. Очевидно, что этого не произошло, поскольку человеческая раса не способна извлекать из истории каких-либо уроков».

Он откинулся на спинку стула, потерев усы и раскурил трубку. Увидев проходившую мимо окна Лемони, он позвал ее в дом. Маленькая девочка серьезно, с широко открытыми глазами выслушала просьбу доктора привести жену священника. Он погладил ее по головке, назвал своей «маленькой корициму⁴¹» и улыбнулся, глядя, как она беспечно поскакала по улице. Маленькая Пелагия была такой же славной, и ему стало грустно. Почувствовав, как на глаза наворачиваются слезы, он тотчас отогнал их, записав еще одно предложение, в котором сурово критиковал норманнов. Он снова откинулся на спинку, но его прервал приход Стаматиса: стоя

⁴¹ Здесь: доченькой (греч.).

в дверях, тот держал в руках шляпу и мял ее поля.

– Калиспера, кирье Стаматис⁴², – сказал доктор. – Чем могу быть полезен?

Стаматис пошаркал ногами, беспокойно посмотрел на священника, холмом вздымавшегося на полу, и произнес:

– Знаете, эта... ну, та штука в моем ухе...

– Фасолистая и чрезмерная аудиторная непроходимость?

– Она самая, доктор. Это, я что хочу узнать... Я хочу сказать – можно ее вставить обратно?

– Вставить обратно, кирье Стаматис?

– Из-за жены, понимаете?

– Понимаю, – сказал доктор, выпуская из трубки густое облако. – Вообще-то не понимаю. Может быть, ты объяснишь?

– Ну, когда я был глух на это ухо, я ее не слышал. Там, где я обычно сижу, понимаете, у меня здоровое ухо на другой стороне, и я мог как-то это терпеть.

– Терпеть – что?

– Пилежку. Ну, раньше это вроде как шорох моря было. Мне даже нравилось. Под него хорошо дремалось. Но теперь так громко, и без конца, все пилит и пилит. – Старик повел плечами, изображая раздраженную женщину, и передразнил жену: – «Ну ни на что ты не годишься, а почему дров не принесешь, а почему у нас никогда нет ни гроша денег, а почему мне все самой приходится делать, а что ж это я не вышла за

⁴² Добрый вечер, господин Стаматис (*греч.*).

настоящего мужчину, а отчего это от тебя одни девочки родятся, а куда делся мужчина, за которого я выходила?» Ну и прочую ерунду – умом тронуться можно.

– Бить пробовал?

– Нет, доктор. В последний раз, когда я ее стукнул, она разбила тарелку о мою голову. У меня до сих пор шрам. Взгляните. – Старик нагнулся и показал что-то невидимое на лбу.

– Ну, в любом случае бить не стоит, – сказал доктор. – Найдут способ достать тебя и похуже. Вроде пересоленной еды. Попробуй быть с ней ласковым.

Стаматис был поражен. Что-то настолько непостижимое, что он вообще не представлял себе, как это можно понять.

– Доктор... – начал он, но не нашелся, что сказать.

– Просто принеси дров, прежде чем она попросит, приноси ей цветок каждый раз, когда возвращаешься с поля; если холодно, укрой ее платком, а жарко – подай стакан воды. Просто. Женщины ворчат, только когда чувствуют невнимание. Представь, что это твоя заболевшая мать, и относись к ней соответственно.

– Так вы не вставьте обратно... эту... э-э... фасолевую и через нервную зудиторную несовместимость?

– Конечно, нет. Это было бы нарушением клятвы Гиппократ. А Гиппократ, между прочим, сказал: «Для опасных болезней наиболее пригодны крайние средства».

Стаматис заметно приуныл:

– Это Гиппократ так сказал? Значит, нужно быть с ней ласковым?

Доктор отечески покивал, и Стаматис надел шляпу.

– О господи, – произнес он.

Доктор наблюдал за стариком из окна.

Стаматис вышел на дорогу, остановился и взглянул на маленький пурпурный цветок, росший на насыпи. Нагнулся, чтобы сорвать, но тут же выпрямился. Огляделся вокруг – убедиться, что никто не смотрит. Подтянул ремень, будто перепоясывая чресла, поглядел на цветок и отвернулся. Уже начал медленно отходить, но затем остановился. Как мальчишка, который хочет что-то стянуть, метнулся назад, цапнул цветок за стебель, спрятал под куртку и двинулся медленной походкой с преувеличенно беззаботным и небрежным видом. Доктор высунулся из окна и крикнул ему вслед: «Браво, Стаматис!» – просто ради озорного удовольствия увидеть его замешательство и досаду.

8. Смешная такая кошечка

Лемони вбежала во дворик доктора Янниса, как раз когда он уходил в кофейню завтракать; он надеялся застать там всех завсегдатаев и поспорить о мировых проблемах. Вчера он горячо полемизировал с Коколисом о коммунизме, а ночью неожиданно натолкнулся на великолепный довод, который столько раз прокрутил в голове, что разогнал себе сон; пришлось подняться и добавить в «Историю» несколько строк, обличающих род Орсини. Вот какой была его речь, предназначавшаяся Коколису:

«Послушай, если все работают на государство, то очевидно, что всем и платит государство, так? Значит, все налоги, что получает государство, – это те деньги, которые государство же вначале и выплатило, так?

А значит, оно получает едва ли третью часть того, что выплатило на прошлой неделе. И единственный способ заплатить всем на этой неделе – напечатать еще денег, разве не так? Из этого следует, что в коммунистической стране деньги очень быстро становятся чем-то ненастоящим, потому что государство не может их ничем обеспечить».

Он представил такой ответный выпад Коколиса: «Ах, доктор, недостающие деньги берутся из прибыли», и тут он молниеносно выдаст: «Но как же, Коколио, ведь единственный для государства способ получения прибыли – продажа това-

ров за границу, а это возможно только в том случае, если в зарубежных странах капитализм и у них есть излишек от налогов для приобретения товаров. Или же тебе придется продавать частным фирмам. Значит, очевидно, что коммунизм не может выжить без капитализма, но этим он противоречит себе, поскольку предполагается, что коммунизм – это конец капитализма и, более того, он должен быть во всем мире. Из моего довода следует, что если мир станет коммунистическим, вся мировая экономика забуксует за одну неделю. Что ты на это скажешь?» Доктор отработывал драматический жест, которым он заключит это выступление (поднеся трубку ко рту и прикусив ее зубами), когда Лемони схватила его за рукав и сказала:

– Доктор, пожалуйста, я нашла смешную такую кошечку. Он посмотрел на крохотную девочку, отметил ее серьезный вид и спросил:

– О, привет, корициму. Что ты говоришь?

– Смешную такую кошечку.

– Хм, да, а что там с твоей смешной такой кошечкой?

Девочка сердито закатила глаза и провела измазанной ручонкой по лбу, оставив грязную полосу.

– Я нашла смешную такую кошечку.

– Какая ты молодец. А почему ты не пойдешь и не расскажешь папе?

– Она болеет.

– Чем болеет?

– Она устала. У нее, наверное, головка болит.

Доктор помешкал. Его призывала чашка кофе, и он должен был окончательно низвергнуть коммунизм перед всем честным обществом. Но чувствуя огорчение ребенка, он подумал: придется подождать с аплодисментами и восхищением. Доктор взглянул на испуганное детское личико, с величавой покорностью улыбнулся и взял девочку за руку.

– Покажи мне ее, – сказал он. – Только помни, что я не люблю кошек. И не знаю, как лечить кошек от головной боли. Особенно смешных.

Лемони нетерпеливо повела его по дороге, поторапливая на каждом шагу. Она заставила его перелезать через невысокую стену и подныривать под ветки олив.

– А мы не можем обойти деревья? – спросил он. – Не забывай, я ведь больше тебя.

– Прямо короче. – Она привела его к зарослям шиповника и кустарника, опустилась на колени и поползла на четвереньках по ходу, проделанному в кустах для своих нужд каким-то диким животным.

– Я здесь не пролезу, – возмутился доктор, – я слишком большой.

Он пробивал себе путь тростью, стараясь не упустить из виду удалявшуюся детскую попку. Со вздохом представил себе, как будет недовольна Пелагия, когда он попросит зашить дырки на брюках и сделать что-нибудь с выдернутыми и спутанными нитками. Он чувствовал, как уже начинают

чесаться царапины.

– Да что ж ты здесь делала-то? – спросил он.

– Улиток искала.

– Знаешь ли ты, что детство – единственная пора нашей жизни, когда безумство не только поощряется, но и предполагается? – риторически спросил доктор. – А вот если бы я стал ползать за улитками, меня отвезли бы в Пирей и заперли в сумасшедший дом.

– Тут полно больших улиток, – отметила Лемони.

Когда доктор уже начал раздражаться и стало очень жарко, они вышли на небольшую полянку, когда-то давно разделенную надвое мрачной изгородью из провисшей колючей проволоки. Лемони вскочила на ноги и побежала к изгороди, показывая на что-то. Доктору потребовалось некоторое время, чтобы сообразить – нужно следовать не грязному пальчику (который бестолково указывал куда-то в небо), а главному направлению руки.

– Вот она, – объявила девочка, – вот смешная кошечка, она все еще усталая.

– Она не усталая, корициму, она зацепилась за проволоку. Бог знает, сколько времени она уже висит здесь.

Он опустился на колени и вгляделся в зверька. Пара маленьких, очень ярких черных глазок блеснула ему в ответ с безграничным отчаянием и мукой. Доктор странно, нелогично растрогался.

У нее была плоская треугольная голова, острая мордоч-

ка и пушистый хвост. Вся насыщенно-каштанового цвета, за исключением горлышка и грудки какого-то неуловимого желто-кремового оттенка. Ушки широкие и закругленные. Доктор всмотрелся в ее глаза – совершенно очевидно, что маленькое существо умирает.

– Это не кошка, – сказал он Лемони, – это лесная куница. Она, наверное, очень давно висит здесь. Я думаю, лучше всего убить ее, она все равно умрет.

Лемони была вне себя от негодования. Глаза ее наполнились слезами, она топала ногами, подпрыгивала – короче, она не позволила доктору убить куницу. Девочка гладила зверька по голове и закрывала от человека, которому вверила его спасение.

– Не трогай ее, Лемони. Помнишь, царь Александр умер от укуса обезьяны?

– Она не обезьяна!

– У нее может быть бешенство. А ты получишь столбняк. Не нужно ее трогать.

– Я уже ее гладила, она не кусается. Она устала.

– Лемони, она напоролась животом на колючку и висит здесь несколько часов. А может быть, дней. Она не устала, она умирает.

– Она гуляла по проволоке, – сказала девочка, – я их видела. Они гуляют по проволоке, а потом забираются на дерево, они едят яйца в гнездах. Я видела.

– Я и не знал, что они здесь водятся. Думал, они в лесу на

горах. Вот так и получается.

– Что получается?

– Дети замечают больше, чем мы.

Доктор снова опустился на колени и осмотрел куницу. Она была очень молодой – наверное, глаза открылись лишь несколько дней назад. Очень красивая. Ради Лемони он решил освободить ее и убить, когда вернется домой. Никто не скажет ему спасибо за спасение зверька, который душит цыплят и гусей, крадет яйца, объедает ягоды в саду и даже разоряет ульи; он скажет девочке, что она сама умерла и, может быть, отдаст похоронить. Осмотрев куницу, он увидел, что зверек не только напоролся на шип, но фактически дважды обернулся вокруг проволоки. Должно быть, она беспрестанно пыталась освободиться и все время страшно мучилась.

Очень осторожно он ухватил ее за шиворот и начал поворачивать тельце. Перехватывая руки, он раскрутил ее с проволоки, чувствуя рядом головку Лемони – та напряженно наблюдала.

– Осторожнее, – просила девочка.

Доктор поморщился при мысли о смертоносном укусе, который наградит его пеной на губах или уложит в постель со сведенными челюстями. Подумать только, рисковать жизнью ради спасения хищника. Только ребенок так может. Он, наверное, сумасшедший или дурак – или и то и другое вместе.

Он повернул зверька брюхом кверху и осмотрел рану – це-

ликом в отвисшей коже внизу живота, мышцы не задеты. Возможно, вся проблема в сильном обезвоживании. Доктор отметил, что это самка и от нее исходит сладковато-мускусный запах, который напомнил ему об одной женщине в дни его морской службы; запах ее он помнил, но лица вспомнить никак не мог. Он показал зверька Лемони и сказал: «Это девочка», – на что последовал неизбежный вопрос: «Почему?»

Доктор положил детеныша в карман пиджака и проводил Лемони домой, пообещав сделать все, что сможет. Затем отправился к себе и обнаружил во дворе Мандраса – тот занимал Пелагию оживленным разговором, а она тем временем пыталась подметать. Рыбак застенчиво взглянул на него и проговорил:

– Ой, доктор, калимера. Я вот пришел к вам, а раз вас нет, так я вот с Пелагией поговорил. Меня тут рана немного беспокоит.

Доктор Яннис недоверчиво взглянул на него и ощутил прилив раздражения; видимо, страдания зверька все же расстроили его.

– Ничего страшного с твоей раной. Ты, наверное, хочешь сказать, что она чешется.

Мандрас заискивающе улыбнулся и произнес:

– Ну, точно, доктор. Вы, наверное, кудесник. Как вы узнали?

Доктор покривился и насмешливо хмыкнул.

– Мандрас, ты прекрасно знаешь, что раны всегда чешут-

ся при заживлении. Ты также прекрасно знаешь, что я прекрасно знаю, что ты пришел сюда только затем, чтобы заигрывать с Пелагией.

– Заигрывать? – повторил юноша, изобразив на лице протодушие и ужас.

– Да. Заигрывать. Другого слова для этого нет. Вчера ты принес нам еще одну рыбу, а потом заигрывал с Пелагией час и десять минут. Ладно, лучше валяй дальше, потому что я не собираюсь тратить время на совершенно здоровую рану, я еще не завтракал, и у меня в кармане смешная такая кошечка, которую мне еще нужно осмотреть.

Мандрас, стараясь не тушеваться, набрался необычайной храбрости:

– Так значит, вы разрешаете мне разговаривать с вашей дочерью?

– Разговаривай, разговаривай, разговаривай! – произнес доктор Яннис, раздраженно взмахивая руками. Он повернулся и вошел в дом. Мандрас взглянул на Пелагию и заметил:

– Станный у тебя папаша.

– С моим отцом все в порядке! – воскликнула она. – А если кто-то скажет наоборот, получит метлой по мордасам. – Она шутливо ткнула его своим орудием, а он перехватил и вывернул метлу из ее рук. – Отдай, – сказала она, смеясь.

– Отдам... за поцелуй.

Доктор Яннис осторожно положил умирающего зверька

на кухонный стол и осмотрел. Потом снял ботинок, ухватил его за носок и поднял над головой. Такую маленькую и хрупкую головку проломить очень легко. И никакого мучения. Так лучше всего.

Он колебался. Нельзя отдавать ее Лемони с разmozженной головой. Может, лучше свернуть ей шею? Он поднял ее правой рукой, положив пальцы на шею и уперев большой палец в подбородок. Нужно просто надавить пальцем.

Несколько секунд он обдумывал это действие, уговаривая себя начать, а затем почувствовал, как палец сдвинулся. Куница была не просто очень хорошенькой – она была очаровательной и невероятно трогательной. И все еще живой. Он положил ее на стол и принес бутылку спирта. Осторожно промыл рану, наложил всего один шов. Позвал Пелагию.

Она вошла, уверенная, что отец видел, как она целовалась с Мандрасом. Готовая к ожесточенной защите, с пылающим лицом, она ожидала взрыва. И несказанно удивилась, когда отец даже не взглянул на нее, а только спросил:

– У нас сегодня были мыши в ловушках?

– Были две, папакис.

– Хорошо, пойдй достань, куда ты там их выбросила, и перемели.

– Перемолоть?

– Ну да. Покроши их. И принеси немного соломы.

Пелагия поспешила во двор, одновременно сбита с толку и успокоенная. Мандрасу, нервно гонявшему камешки во-

круг оливы, она сказала:

– Все в порядке, он хочет только, чтобы я покрошила мышей и принесла ему соломы.

– Господи, я же говорил, что он странный.

Она засмеялась:

– Это значит только, что у него какой-то новый план. Он правда не сумасшедший. А ты, если хочешь, можешь пойти и поискать солому.

– Благодарю, – сказал он, – я просто обожаю искать солому.

Она лукаво улыбнулась:

– Может быть вознаграждение.

– За поцелуй, – сказал он, – я свинарник дочиста вылижу.

– Уж не думаешь ли ты в самом деле, что я стану с тобой целоваться после того, как ты вылижешь свинарник.

– А я бы целовался с тобой, даже если бы ты вылизала ил с днища моей лодки.

– Верю. Ты гораздо ненормальнее моего отца.

В доме доктор набрал в пипетку козьего молока и стал закапывать его кунице в горло. Он преисполнился величайшего врачебного удовлетворения, когда зверек наконец пописал ему на брюки. Значит, почки функционируют. «Я убью ее, когда вернусь из кофейни», – решил он, поглаживая одним пальцем густой коричневый мех у нее на лбу.

Спустя полчаса его пациентка быстро уснула на постели из соломы, а Пелагия на дворе крошила сечкой мышей.

Мандрас зачем-то взгромоздился на ветку оливы. Доктор Яннис пронесся мимо них в кофейню, еще раз повторяя свою сокрушительную критику коммунистической экономики и представляя замешательство, что скоро появится на лице Коколиса. Пелагия бросилась перехватить отца и уцепилась за его рукав, совсем как Лемони.

– Папакис, – сказала она, – ты что, не заметил, что пошел в одном ботинке?

9. 15 августа 1940 года

По дороге в кофейню доктор Яннис столкнулся с Лемони: та была поглощена новым занятием – тыкала палкой в нос худому пятнистому псу. Пес, заходясь лаем, прыгал и пытался цапнуть деревяшку; его мутный рассудок туманила серьезная проблема: это игра или явная провокация? Выход виделся в одном – лаять еще неистовее. Пес сел на задние лапы, запрокинул голову и завыл, как волк.

– Он поет! Он поет! – ликующе закричала Лемони и присоединилась: – Уа-у-у, уа-у-у, уа-у-у!

Доктор заткнул уши и взмолился:

– Корициму, перестань, перестань сейчас же, и так слишком жарко, а я от этого шума потею. Не трогай собаку, она тебя укусит.

– Нет, не укусит, он только палки кусает.

Доктор потрепал пса по голове и вспомнил, что как-то зашивал глубокую рану на его лапе. Поморщился, вспомнив, как удалял осколки стекла. Он знал, что его считали странным из-за пристрастия исцелять – он и сам находил это необычным, но понимал и то, что человек должен быть одержим какой-то идеей, чтобы радоваться жизни, и, конечно, гораздо лучше, если идея конструктивная. Возьмем Гитлера, Метаксаса, Муссолини – они одержимы манией величия. Или возьмем Коколиса, озабоченного перераспреде-

нием добра других людей, или отца Арсения – раба желудка, или Мандраса, настолько влюбленного в докторову дочку, что ради удовольствия Пелагии он даже раскачивается на оливе, изображая обезьяну. Доктор поежился, припомнив, что как-то в Испании видел сидевшую на дереве обезьяну на цепочке. Она мастурбировала и поедала результаты процесса. О господи, представить только, что Мандрас делает то же самое!

– Не нужно его гладить, – сказала Лемони, обрадовавшись возможности прервать его раздумья и выказать перед взрослым свою мудрость, – у него блохи.

Доктор отдернул руку, а собака спряталась за ним, чтобы укрыться от девочки с палкой.

– Ты решила, как назовешь куницу? – спросил он.

– Кискиса, – объявила девочка, – ее зовут Кискиса.

– Это не годится, она же не кошка.

– Ну и что? Я же не лимон, а меня зовут Лемони.

– Я был при твоём рождении, – сказал доктор, – и мы не могли разобраться, ребенок это или лимон. Я чуть было не отнес тебя на кухню и не выжал из тебя сок. – Лемони недоверчиво сморщилась, а пес вдруг проскочил между докторских ног, выхватил у нее из рук палку и умчался к груде валунов, где принялся разгрызать ее в щепки. – Умная собака, – заметил доктор и покинул девочку, которая в изумлении уставилась на свои пустые руки.

В кофейне он увидел собрание завсегдатаев: Коколиса с

его великолепно пышными и мужественными усами; Стаматиса, скрывавшегося от укоризненных взглядов и ворчания жены; отца Арсения, шарообразного и потного. Доктор взял свою обычную маленькую чашку кофе, бокал воды и, как всегда, сел рядом с Коколисом. Сделал большой глоток воды и процитировал Пиндара, что тоже делал всегда:

– Вода – это лучшее.

Коколис глубоко затянулся кальяном, выпустил клуб голубого дыма и спросил:

– Вы ведь были моряком, доктор, да? Верно ли, что греческая вода по вкусу больше похожа на воду, чем вода в любой другой стране?

– Несомненно. А кефалонийская вода даже больше похожа на воду, чем любая другая в Греции. У нас также лучшее вино, лучший свет и лучшие моряки.

– Когда придет революция, у нас будет и лучшая жизнь, – объявил Коколис, намереваясь спровоцировать собрание. Он ткнул в портрет короля Георга, висевший на стене, и добавил: – А эту дурацкую харю заменим Лениным.

– Подлец, – шепотом произнес Стаматис. Горошины в ухе больше не было, и ему приоткрылись не только раздражающие моменты семейной жизни, но и потрясающий, непатриотичный антимонархизм Коколиса. Стаматис хлопнул ладонью по тыльной стороне руки, подчеркивая степень тупости Коколиса, и добавил:

– Путанас йи.

Коколис угрожающе улыбнулся и произнес:

– Я шлюхин сын, да? Ну так обожрись моим дерьмом!

– Ай гамису! Те гамиесей!

Доктор, услышав пожелания отправиться к такой-то матери, вскинул голову и стукнул стаканом о стол.

– Пайдиа, пайдиа! Хватит! Каждое утро у нас это безобразие! Я всегда был венизелистом, я не монархист и не коммунист. Я не согласен с вами обоими, но я лечу глухоту Стаматиса и выжигаю бородавки Коколиса. Вот как нам всем следует себя вести. Мы должны больше заботиться друг о друге, а не об идеях, иначе кончим тем, что друг друга поубиваем. Разве я не прав?

– Нельзя приготовить омлет, не разбив яйца, – процитировал Коколис, многозначительно поглядывая на Стаматиса.

– Мне не нравится твой омлет, – сказал Стаматис, – он из тухлых яиц, отвратительный на вкус, и у меня от него понос.

– Революция вставит тебе затычку, – ответил Коколис и добавил: – Справедливое распределение того небольшого, что мы имеем, средства производства – в руки производителям, равная обязанность трудиться для всех.

– Никто не работает больше, чем это необходимо, – густым басом заметил отец Арсений.

– Вы не работаете вообще, патир. И жиреете с каждым днем. Вам все за так достается. Вы – паразит.

Арсений обтер пухлые руки о черные одежды, а доктор сказал:

– Существует такая вещь, как необходимый паразит. В кишечнике есть паразитические бактерии, которые помогают пищеварению. Я не религиозный человек, я материалист, но даже я могу понять, что священники – своего рода бактерии, дающие возможность людям находить жизнь удобоваримой. Отец Арсений сделал много полезного для тех, кто ищет утешения, он член каждой семьи, и он – семья для тех, у кого ее нет.

– Благодарю вас, доктор, – сказал священник, – я никогда не думал, что услышу подобные слова от такого отъявленно-го безбожника. Я никогда не видел вас в церкви.

– Эмпедокл сказал, что Бог – это круг, центр его повсюду, а окружность всеохватна. Если это верно, мне не нужно ходить в церковь. И мне не надо верить в то, во что верите вы, чтобы понять, что у вас есть свое предназначение. Давайте теперь мирно курить и пить кофе. Если мы не перестанем здесь спорить, я начну завтракать дома.

– Доктор подумывает, не стать ли ему на самом деле еретиком, хотя я согласен с ним: наш священник – великий утешитель вдов, – ухмыляясь, сказал Коколис. – Нельзя ли мне немного вашего табачку, а? Мой кончился.

– Коколио, раз ты считаешь, что вся собственность награблена, из этого следует, что ты должен дать всем нам справедливую долю того небольшого, что есть у тебя. Передай мне твою жестянку с табаком, и я прикончу его за тебя. Справедливость так справедливость. Будь настоящим ком-

мунистом. Или это только другие должны, согласно утопии, делиться своей собственностью?

– Когда придет революция, доктор, достаток будет у всех. А пока передайте мне ваш кисет, я возьму вашу любезность в другой раз.

Доктор передал табак, и Коколис удовлетворенно набил кальян.

– Что нового на войне?

Доктор подкрутил кончики усов и сказал:

– Германия все захватывает, итальянцы валяют дурака, французы сбежали, бельгийцев обобрали, пока они глядели по сторонам, поляки атаковали танки конницей, американцы играли в бейсбол, британцы пили чай и прилаживали свои монокли, русские, когда не голосовали единогласно за исполнение того, что им велено, сидели сложа руки. Слава богу, нас это не касается. Давайте включим радио.

Включили стоявший в углу кофейни большой английский приемник, лампа за медной сеткой начала накаляться, свист, треск и шипенье свели до разумного минимума верчением ручек и осторожной настройкой взад-вперед, и компания уселась послушать передачу из Афин. Все ожидали услышать, как всегда, о последнем параде Национальной молодежной организации перед премьер-министром Метаксом; могли что-нибудь сказать о короле и, возможно, о последних захватах нацистов.

Прозвучало сообщение о новом союзе Черчилля со «Сво-

бодными французами», еще одно – о восстании в Албании против итальянской оккупации, еще – об аннексии Люксембурга и Эльзас-Лотарингии... В этот момент в дверях кофейни появилась Пелагия – она настойчиво подавала знаки отцу, смущаясь от того, что знала: присутствие женского пола даже вблизи этого места считалось большим кощунством, чем плевок на могилу святого.

Доктор Яннис сунул трубку в карман, вздохнул и неохотно пошел к двери.

– Что такое, кори⁴³, что случилось?

– Папакис, Мандрас свалился с оливы и упал на горшок, и у него осколки... ну, знаешь... на чем он сидит.

– В заднице? А что он делал на дереве? Опять выпендрился? Изображал обезьяну? Этот парень – сумасшедший.

Пелагия и огорчилась, и вздохнула с облегчением, когда отец запретил ей входить в кухню, пока удалял кусочки и крошки терракоты из гладкой мускулистой задницы ее поклонника. Она стояла снаружи, повернувшись спиной к двери, и каждый раз вздрагивала от сочувствия, когда Мандрас вопил. В доме доктор, уложив рыбака со спущенными до колен штанами на стол лицом вниз, размышлял о всеобщем идиотизме любви. Ну как Пелагия могла увлечься таким ничтожеством, с которым вечно что-то случается, таким прелестным и незрелым существом? Он вспомнил, как сам выставлялся перед женой, прежде чем они обручились: залезал

⁴³ Дочка (греч.).

на крышу ее дома, поднимал черепицу и рассказывал все известные ему анекдоты; ночью прикалывал к дверному косяку «анонимные» стихи, воспевавшие ее красоту; совсем как Мандрас, прилагал невероятные усилия, чтобы подольститься к ее отцу.

– Ты идиот, – сказал он пациенту.

– Я знаю, – ответил Мандрас и сморщился, когда доктор выдернул очередной осколок.

– Сначала тебя случайно подстрелили, а теперь ты с дерева свалился.

– Я посмотрел фильм про Тарзана, когда ездил в Афины, – объяснил Мандрас, – и просто рассказывал Пелагии, про что он. Ой! Пожалуйста, доктор, потише!

– Пострадал из-за культуры, да? Дурень.

– Да, доктор.

– Ах, какие мы вежливые! Я знаю, к чему ты клонишь. Собираешься сделать ей предложение – скажешь, нет? Предупреждаю, приданого не будет.

– Не будет?

– Тебя это пугает? В вашей семье так не принято? Тот, кто рассчитывает пожить у нас, не получит моей дочери. Пелагия заслуживает лучшего.

– Нет, доктор, дело не в приданом.

– Ага, уже хорошо. Хочешь просить моего разрешения?

– Пока нет, доктор.

Доктор поправил очки.

– Похвальная предусмотрительность. Тебе все веселиться бы, одни удовольствия на уме! Это не годится для хорошего мужа.

– Да, доктор. Все говорят, что будет война, а я не хочу оставлять вдову, вот и все. Вы же знаете, как относятся к вдовам.

– Они становятся шлюхами, – сказал доктор.

Мандрас был потрясен:

– Пелагия никогда не станет такой, Бог этого не допустит.

Доктор подтер струйки крови и подумал: а были у него самого когда-нибудь такие красивые ягодицы?

– Не стоит во всем рассчитывать на Бога. Есть вещи, которые надо делать самому.

– Да, доктор.

– Хватит лебезить. Полагаю, ты возместишь мне горшок, который так либерально перераспределил в пользу своей филейной части?

– Рыбой возьмете, доктор? Я бы принес вам ведро сига.

Было уже шесть часов, когда доктор вернулся в кофейню, потому что после хирургической операции пришлось уверять дочку, что с Мандрасом все будет в порядке, несмотря на синяки и несколько оставшихся терракотовых крапинок на его заднице, пришлось помогать ей ловить козленка, каким-то образом забравшегося на крышу соседского сарая, пришлось покормить перемолотыми мышами Кискису и, кроме всего прочего, пришлось укрыться от нестерпимой

августовской жары. Он вздремнул на время сиесты, и его разбудил вечерний концерт сверчков и воробьев и шум деревенских жителей, собиравшихся отмечать Успенье. Он отправился в свое странствие – ежевечернюю прогулку, которая неизбежно прерывалась остановкой в кофейне, а затем возобновлялась в ожидании, что Пелагия к его возвращению что-нибудь сготовит. Он надеялся на несезонный кокоречи⁴⁴, поскольку заметил печенку и кишки на столе, где перед этим проводил свою хирургию. Ему пришло в голову, что несколько капель Мандрасовой крови могло попасть в пищу, и он праздно размышлял, может ли это приравняться к каннибализму. Что навело на дальнейшие размышления – может ли мусульманин рассматривать принятие Святого причастия как антропофагию?

Едва он вошел в кофейню, как почувствовал: что-то неладно. Из радиоприемника лилась торжественная военная музыка, а все ребята сидели хмурые и зловеще помалкивали, сжимая бокалы и насупив брови. Доктор Яннис с изумлением заметил, что и у Стаматиса, и у Кокोलиса по щекам протянулись блестящие дорожки слез. Он с удивлением увидел, как отец Арсений вышагивает по улице с пророчески вскинутыми руками, развевающейся патриаршей бородой и выкрикивает: «Кошунство! Кошунство! Стенайте, корабли фарсийские! Зрите, я возведу на Вавилон, на вас, пребывающих в среде их восставших на меня, сокрушающий ветер!

⁴⁴ Кокоречи – запеченные потроха молодого барашка.

Возопите, дочери Раввы, покройте себя власяницей! Горе, горе, горе!...»

– Что происходит? – спросил доктор.

– Эти сволочи потопили «Элли», – сказал Коколис, – и торпедировали причал на Тиносе.

– Что? Что?!

– «Элли». Линкор. Итальянцы потопили его у Тиноса, как раз когда все паломники отправлялись в церковь, чтобы увидеть чудо.

– Иконы не было на борту, нет? Что происходит? То есть, зачем? Икона цела?

– Не знаем мы, не знаем, – сказал Стаматис. – Лучше бы я и сейчас был глухим, чтобы не слышать этого. Известно, сколько погибло, не знают, цела ли икона. Итальянцы напали на нас, вот и все, почему – не знаю. Как раз на Успенье, это святотатство.

– Это преступление, там же увечные паломники. Что собирается делать Метаксас?

Коколис дернул плечами.

– Итальянцы говорят, что это не они, но уже нашли осколки итальянской торпеды. Они что думают – мы не мужчины? Эти гады говорят, что виноваты англичане, но никто не видел подводной лодки. Никто не знает, что будет дальше.

Доктор закрыл лицо руками и почувствовал, как у него тоже закипают слезы. Его охватил яростный и бессильный гнев маленького человека, которого связали, заткнули ему

кляпом рот и заставили смотреть, как насилюют и калечат его жену. Он не задумывался и не пытался понять, почему они оба с Коколисом ужасно страдают от надругательства над иконой и святым праздником, когда один из них – коммунист, а другой – секулярист. Он не задавался вопросом, неизбежна ли война. Это не те вещи, о которых следует задумываться. Коколис и Стаматис поднялись и вышли вместе, когда он сказал:

– Пошли, ребята, мы все идем в церковь. Это вопрос солидарности.

10. L'omosessuale (3)

Виновный человек хочет только, чтобы его поняли, потому что быть понятым – значит, быть прощенным. Возможно, в собственных глазах он невиновен, но достаточно уже того, что другие считают его преступником, а потому необходимо объясниться. И хотя в моем случае никто не знает, что я виновен, но, тем не менее, я хотел бы, чтобы меня поняли.

Меня выбрали для этого задания, потому что я крупный, приобрел репутацию сносного человека, достаточно умен (Франческо говорил, что в армии «умный» означает «не все по фигу») и у меня есть «солдатская жилка». Это означало, что я поддерживаю порядок среди подчиненных, чищу сапоги, когда они не слишком сырые, и знаю значение большинства сокращений, которые обычно превращают наши военные документы в полную абракадабру.

От нарочного на мотоцикле я получил приказ, предписывавший явиться к полковнику Риволта, взяв с собой одного надежного человека. Естественно, я выбрал Франческо; кажется, я уже объяснял, что намеревался использовать свой порок как средство стать хорошим солдатом. Рядом с ним я чувствовал, что способен на все. Поскольку мы не воевали, мне и в голову не пришло, что, беря Франческо с собой, я втягиваю его в опасность; я и знать не знал, что очень скоро мне представится возможность показать ему мой героизм.

Получить приказ – одно, выполнить его – совсем другое. В то время у нас в войсках было, кажется, только двадцать четыре грузовика на десять тысяч солдат. Полковник Риволта располагался в пятнадцати милях от нас. Чтобы прибыть к нему, пришлось пробежать пять миль, проехать на паре мулов следующие пять и, наконец, подхватить попутку – доехать на броне танка, шедшего в ремонт с исправным только задним ходом. Мы поехали задом наперед – истинный символ всей надвигавшейся кампании.

Риволта был непомерно тучным человеком, четко получившим повышения в чине, зная нужных людей, щедрым кладезем модных девизов, вроде «Книга – в одной руке, винтовка – в другой», и проявлял совершенный героизм командира, который размещает свой штаб в брошенной вилле в пятнадцати милях от воинских частей, чтобы использовать лужайку для светских приемов. Наш альпийский полк пользовался дурной славой из-за кулачных стычек с чернорубашечниками. Поэтому, наверное, для задания выбрали именно меня – не имело большого значения, если бы меня убили, поскольку я не стоял в очереди автоматически повышавшихся в звании. Тем, кто удивляется, почему наши солдаты оказались так неумелы по сравнению с их отцами в войне 1914 года, следует держать в уме, что теперь невозможно стать старшим офицером только по заслугам. Это достигается вылизыванием задниц.

Риволта, жирный, скучающий коротышка, имел несколь-

ко медалей за Абиссинскую кампанию, хотя все знали, что он со своими людьми сидел на одном месте и не совершил вообще ничего. Но это не мешало ему отправлять на родину сенсационные рапорты об успешных операциях – сказочные, созданные богатым воображением произведения беллетристики; солдаты обычно говорили, что его медали – за литературную отвагу. К тому же, язык его находился постоянно в работе и стал почти идеально гладким.

Когда мы вошли в величественную комнату с высоким потолком и отдали честь, Риволта ответил нам римским салютом. Нам пришло в голову, что он, вероятно, передразнивает Дуче, и Франческо хихикнул. Риволта посмотрел на него и, видимо, отметил в уме – дать наряд на уборку нужника.

– Господа, – драматически произнес Риволта, – я верю, что могу абсолютно положиться на вашу храбрость и благоразумие.

Франческо приподнял бровь и искоса взглянул на меня. Я ответил:

– Так точно. Абсолютно. – А Франческо проделал языком движение, которое невозможно было ни с чем спутать, – к счастью, незамеченное.

Риволта поманил нас к карте, разложенной на большом, великолепно отполированном старинном столе, и наклонился над ней. Он указал жирным пальцем на точку в долине по соседству с тем местом, где мы стояли лагерем, и сказал:

– Завтра ночью ровно в два вы вдвоем под покровом тем-

ноты подойдете к этому месту и...

– Простите, господин полковник, – перебил Франческо, – но оно на греческой территории.

– Я знаю, знаю. Я не дурак. Это не имеет значения. Там нет греков, и они не узнают.

Франческо снова приподнял бровь, а полковник саркастически произнес:

– Полагаю, вы слышали о такой вещи, как оперативная необходимость?

– Значит, мы в состоянии войны? – спросил Франческо, а полковник, вероятно, отметил в уме два наряда на уборку нужника. В этот момент мышонок Марио как назло высунулся из нагрудного кармана Франческо, и тот, пока не заметил Риволта, быстро запихнул его обратно. От этого настроение моего друга стало еще непочтительнее, и он идиотски разулыбался, а полковник тем временем продолжал:

– Здесь находится деревянная сторожевая башня. Ее захватила группа местных бандитов, которые убили часовых и взяли их форму. Они выглядят как наши солдаты, но ими не являются. – Он помолчал, чтобы дать нам проникнуться важностью сообщения, и продолжил: – Ваша задача – взять эту башню. У интенданта получите оружие и все необходимое. Для вас приготовлено специальное снаряжение. Вопросы?

– У нас две роты берсальеров в этой долине, господин полковник, – сказал я. – Почему этого не могут сделать они?

– Если там всего лишь бандиты, то это дело карабинеров, разве не так? – вмешался Франческо.

Полковник запыхтел от возмущения и спросил:

– Вы обсуждаете мои приказы?

Франческо молниеносно ввернул:

– Вы сами спросили, есть ли вопросы, господин полковник.

– Оперативные вопросы, но не вопросы политики. Я достаточно наслышан о вашей дерзости и должен вас предупредить, что вы обязаны проявлять уважение там, где это должно.

– Там, где это должно, – повторил Франческо, энергично кивая и тем самым напрашиваясь на продолжение выговора.

– Удачи, парни, – сказал полковник, – если бы мог, я пошел бы с вами.

*Sotto voce*⁴⁵, но отчетливо для меня Франческо пробормотал:

– Ну еще бы, говнюк.

Риволта отправил нас собираться, снабдив обещанием медалей в случае успеха и толстым пакетом приказов, содержащим также карты, точный почасовой план и фотографию Муссолини, сделанную в профиль снизу, чтобы подчеркнуть выступ подбородка. Думаю, этим предполагалось воспылать нас и придать нашей моральной стойкости негибкость.

⁴⁵ Вполголоса (*um.*).

Выйдя из виллы, мы присели на ограду и просмотрели бумаги.

– Подозрительное дельце, – сказал Франческо. – Как думаешь, что это на самом деле?

Я взглянул в его прекрасные глаза и ответил:

– Мне все равно, что это. Это приказ, и мы должны просто принять, что кто-то знает, зачем это все, – разве не так?

– Ты слишком многое принимаешь, – проговорил он. – Думаю, дельце не только подозрительное, но и грязное. – Он достал из кармана своего любимца и сказал ему: – Марио, это нехорошая затея, тебе не надо с этим связываться.

Мы глазам своим не поверили, когда выяснилось, что полученное нами у интенданта специальное снаряжение состоит из английской военной формы и греческого оружия. Все казалось совершенно бессмысленным. Инструкции по стрельбе из легкого пулемета «гочкис» не было. Мы разобрались сами, но позже пришли к заключению: видимо, не предполагалось, что мы будем это делать.

Нас с Франческо самым удивительным образом спасла погода. Мы приготовились заранее и украдкой вышли с собственных позиций в десять вечера. Перейдя границу, согласно инструкции мы переоделись в английскую форму и пошли через эскарп в соседнюю долину. К этому моменту нас уже охватил сумбур противоречивых настроений.

Не думаю, чтобы человек, никогда не видевший сражений, смог точно понять, какой вихрь подымается в голове

солдата в часы боя, но постараюсь объяснить. В нашем случае мы оба были горды: именно нас выбрали для серьезного военного задания. Поэтому мы чувствовали себя особенными и значительными. Но никто из нас никогда прежде ничего подобного не делал, поэтому нас серьезно пугала не только физическая опасность, но и большая ответственность, а также вероятность того, что мы что-нибудь перепутаем. Чтобы скрыть этот страх, мы то и дело отпускали дурацкие шуточки. К тому же, солдат всегда опасается, что командиры знают больше его, а он не ведает, что происходит на самом деле. Он знает, что иногда Верховное командование может пожертвовать им ради каких-то высших интересов, не ставя его в известность, отчего становится пренебрежительным и подозрительным к своим командирам. И страх в нем только растет.

Неопределенность последствий делает его суеверным, он постоянно крестится, или целует свой амулет, или кладет в нагрудный карман портсигар, чтобы отразить пули. У нас с Франческо была примета: никто не должен употреблять слово «*certamente*»⁴⁶. Мы не произносили его ни на том задании, ни после, на войне. Казалось, Франческо постоянно должен поверяться своему мышонку, и он, бывало, баюкал его в ладонях и болтал чепуху, а остальные беспрерывно курили, вышагивали взад-вперед, разглядывали мятые фотографии любимых или каждые пять минут бегали в сортир.

⁴⁶ Определенно (*um.*).

Мы узнали, что, когда заканчивается напряженное ожидание и начинается бой, возникает дикое возбуждение, иногда переходящее в какой-то сумасшедший садизм. Нельзя всегда винить солдат за их жестокость. Могу сказать по собственному опыту – это естественное следствие адского облегчения: можно больше не думать. Жестокость иногда – не что иное, как мщение мучимых. Катарсис – вот слово, которое я искал. Греческое слово.

Лежа в кустарнике перед той ночной башней, я чувствовал рядом Франческо и знал, что Федр был прав, когда полагал, что влюбленный становится доблестнее рядом с возлюбленным. Я чувствовал, что моя любовь к нему растет от мысли, что вскоре пуля может разлучить нас.

Близились полночь, пронзительно кричали совы, а в отдалении слышался мягкий перезвон козьих колокольчиков. Невероятно холодно – с севера поднялся леденящий ветер. Мы по-разному ругали этот ветер, но «мудохvat» подходит, наверное, больше всего.

В полночь Франческо посмотрел на часы и сказал:

– Я больше не могу. У меня пальцы отваливаются, ноги как лед, и клянусь, сейчас пойдет дождь. Ради бога, давай с этим завязывать.

– Нельзя, – ответил я, – приказ – не атаковать раньше двух часов.

– Брось, Карло, какая разница? Давай сделаем сейчас и пойдем домой. Марио это уже обрыдло, да и мне тоже.

– Твой дом – Генуя. Туда не доберешься. Слушай, это вопрос дисциплины.

У меня больше не было доводов; по правде, я был согласен с Франческо и не хотел умирать от переохлаждения на этом богом забытом пятачке только потому, что из-за своей оперативности и возбуждения мы прибыли раньше времени.

Приказ предписывал использовать против бандитов пулемет, но там, ночью, при той смертельной температуре мысль больше не казалась здоровой. Он был такой холодный, что от одного прикосновения ломило пальцы; к тому же мы не были уверены, что сможем управиться с ним в темноте. Мы решили подойти поближе к башне.

У них наверху горела лампа, и нас поразило, что их там по меньшей мере человек десять. Мы ожидали самое большее троих. Еще мы увидели, что там четыре пулемета на внешнем ограждении.

– Почему послали только нас двоих? – прошептал Франческо. – Если откроем огонь, мы покойники. Точно, подозрительное дельце. С каких это пор у бандитов пулеметы?

Из башни слышалось пение: похоже, что они там немного выпивши. Я почувствовал себя увереннее и прополз вперед на разведку, стараясь не обращать внимания на царапавшие руки сосновые шишки и маленькие острые камешки, вонзавшиеся, казалось, до самых костей. Под башней я обнаружил большую кучу растопки и бочку с керосином, укрытые от дождя. Во всех сторожевых башнях были печки, топив-

шиеся дровами, и керосиновые лампы; естественно, припасы под башнями и хранились.

Вот почему мы с Франческо не только начали атаку двумя часами раньше, но и провели ее, опрокинув и подпалив бочку. Башня вспыхнула, как факел, а мы, стоя едва ли под ней самой, поливали ее из пулемета. Мы стреляли, пока не кончилась лента. Если и были крики, мы не слышали их. Мы чувствовали только, как дергается пулемет, как стискиваются зубы, ощущали страшное сумасшествие отчаянного боя.

Когда лента кончилась, наступила ужасающая тишина. Мы переглянулись и улыбнулись. Улыбка Франческо была вялой и печальной, у меня, наверное, – такая же. Наша первая жестокость. Мы не ощущали триумфа. Мы чувствовали себя выжатыми и больными.

О тело капитана Роатты из полка берсальеров, перелетевшего через ограждение башни и сломавшего себе шею, споткнулся Франческо. Казалось, в неестественно распластавшемся теле никогда не было жизни. И приказ капитану прибыть с девятью солдатами на башню для отражения нападения греческих частей, которое, по данным разведки, ожидалось в 2.00, нашел тоже Франческо.

Он сел рядом со мной около этого тела и взглянул на звезды.

– Это вовсе не английская форма, – произнес он наконец. – Ведь у греков такая же форма, как у англичан, да?

Я тоже посмотрел на звезды.

– Мы должны были погибнуть. Вот почему нам сказали идти без знаков различия. Мы – греки, напавшие на итальянские части, и мы должны быть убиты. Вот почему послали только двоих – чтобы наверняка.

Франческо медленно поднялся. В отчаянье вскинул и уронил руки, а потом горько произнес:

– Похоже, какая-то тупая сволочь хочет устроить маленькую войну с Грецией.

11. Пелагия и Мандрас

ПЕЛАГИЯ (*сидит в уборной после завтрака*): Как хорошо, что тот, кто строил этот домик, оставил оконце над дверью. Я могла бы часами просто сидеть здесь и смотреть на облака, как они разворачиваются у вершины горы. Интересно, откуда они берутся? Нет, я знаю, что это вода испаряется, но просто кажется, что они собираются из ничего, просто вдруг. Будто у каждой капельки есть секрет, которым можно поделиться с сестрицами; они поднимаются из моря, прижимаются друг к другу и плывут в ветерке, а когда капельки, перешептываясь, перебегают от одной подружки к другой, облака меняют форму. Они говорят: «Я вижу Пелагию, там внизу, сидит себе и не знает даже, что мы про нее говорим». Они говорят: «Я видела, как Пелагия и Мандрас целовались. Что теперь будет! Знала бы, так покраснела». О, я краснею! Я глупая! А почему облака плывут медленнее ветра, который их гонит? И почему иногда ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую? Это папакис прав, когда говорит, что есть несколько разных слоев ветра, или облака умеют плыть против него? Нужно нарезать лоскутов, чувствую, что живот и спина болят, и пора уже. Прошлой ночью я видела молодой месяц, – значит, уже должно. Тетушка говорит, единственное, чем хорошо беременным, – не надо тревожиться о месячных. Бедная маленькая Хрисула, бедная девочка, какой

ужас случился. Прошлой ночью папас пришел домой, от гнева и горя весь трясется, а все потому, что Хрисула дожила до четырнадцати лет, и никто ей никогда не говорил, что в один прекрасный день у нее пойдет кровь, и она так испугалась, подумала, что у нее какая-то отвратительная скрытая болезнь, не могла никому рассказать об этом и приняла крысиный яд. А папас так рассердился, что схватил Хрисулину мать за шею и тряс ее, как собака кролика, а Хрисулин отец взял и пошел с друзьями, как обычно, и вернулся домой пьяным, будто ничего не произошло, а под кроватью Хрисулы нашли пачку бумаги, толстую, как Библия, это все ее молитвы к святому Герасиму об исцелении, и молитвы такие печальные и отчаянные, что плакать хочется. Ладно, нельзя сидеть тут целый день и думать об облаках и менструации, все равно уже становится жарко, да и дурной запах накатит. Хотя посижу еще немного, папас еще минут десять не вернется с завтрака, главное, выглядеть занятой, когда он объявится. Думаю, оконце над дверью оставили потому, что иначе бы здесь было совсем темно.

МАНДРАС (*укладывает сети в лодку*): Святой Петр и святой Андрей, пошлите мне хороший улов. Опять будет знойный день, точно, и наверняка вся рыба спрячется в камнях и уйдет на дно. Богу надо было создать ее с солнечными очками, ради нас, бедных рыбаков. Пусть облака с горы Энос закроют солнце, Господи; пусть я поймаю хорошую кефаль

для доктора Янниса и Пелагии; пусть я увижу дельфинов или морских свиней, чтобы узнать, где рыба; пусть я увижу чак-ек, чтобы найти сига, а Пелагия обваляет их в муке, жарит в масле, выдавит на них лимонный сок и пригласит меня пообедать с ними, а я смогу под столом касаться ее ноги своей, пока доктор распространяется о Еврипиде и наполеоновском нашествии, а я буду говорить: «Как интересно, я и не знал, неужели?» Пусть я поймаю леща для матери, и морского окуня, и хорошего большого осьминога, чтобы порезать кружочками, а мать приготовит, а я завтра съем, холодный, с чабрецом и маслом, на толстом ломте белого хлеба. Во вторник не буду выходить, по вторникам никогда не везет; но жить-то надо, и может быть, и для меня найдется улыбка среди бесчисленных улыбок волн. Это я от доктора научился: «Неисчислимые улыбки волн», строка Эсхила, который, очевидно, никогда не видел моря зимой. Неисчислимо льют дожди и бесконечная холодрыга – это больше похоже. А сегодня хорошенький денек, хорошенький, как Пелагия, а если заброшу леску на дно, может, поймаю камбалу, а если попадет соленая вода в мои порезы на заднице, то жечь будет так, что мать твою за ногу.

ПЕЛАГИЯ (*достает воду из колодца*): Папакис говорит, что у Мандраса терракотовые крапинки на заднице останутся на всю жизнь, будто кто-то посыпал ее красным перцем. Мне нравится его задница, Господи, прости меня, хотя я ее

никогда не видела. Я просто говорю, что нравится. Понравилась бы. Такая маленькая. Когда он наклоняется, видно, что она – как две половинки дыни. Ну, то есть, эти округлости такие аккуратные, совсем как у плода, который создал Бог. Когда он целует меня, мне хочется обхватить его и взять ягодицы в руки. Я не брала. А что он сказал бы, если бы я взяла? Такие дурные мысли у меня. Слава богу, никто их не может узнать, а то бы меня заперли и все старухи бросались бы в меня камнями и называли шлюхой. Когда я думаю о Мандрасе, так и вижу его лицо, он ухмыляется, а потом вижу, как он нагибается. Иногда я думаю, нормальная я или нет; но что говорят женщины, когда они одни, а мужчины сидят в кофейне! Если бы мужчины только знали, вот был бы номер! Каждая женщина в деревне знает, что у Коколиса член изгибается вбок, как банан, а у священника сыпь на мошонке, а мужчины не знают. Они представления не имеют, о чем мы говорим; они думают, мы разговариваем о готовке, о детях, о штопке. А мы, когда находим картофелину, похожую на мужское хозяйство, перебрасываем ее друг другу и смеемся. Хорошо бы носить воду домой так, чтобы ее не таскать. Каждый кувшин все тяжелее, и я всегда обливаюсь. Говорят, норманны отравляли колодцы, бросая в них трупы, и выбора не было – умереть от жажды или от заразной воды. Вот чудо, на острове – ни ручьев, ни рек, а нас чистой водой из-под земли осчастливило даже в августе. Надо отдохнуть немного, когда приду домой; терпеть не могу, когда потеешь, и шея

вся липкая и колется. А почему, интересно, Бог сделал лето очень жарким, а зиму очень холодной? И где записано, что воду должны таскать женщины – ведь мужчины сильнее? Когда Мандрас попросит меня выйти за него, я скажу: «Только если ты согласен носить воду». А он скажет: «Чудно, если ты будешь ловить рыбу», – и я не буду знать, что ответить. Нужно, чтобы появился изобретатель и устроил насос – воду в дом подавать. Папаса бы прямо убила. Что это значит – он говорит Мандрасу, что у меня не будет приданого? Кто ж выходит замуж без приданого? Папас говорит, что это варварство и ни в одной известной ему цивилизованной стране этого нет, а жениться нужно, как он, по любви, и неприлично превращать это в сделку: тем самым подразумевается, что женщина недостойна замужества, если только не принесет имущество на горбу. Ну, тогда мне придется выходить за иностранца, раз он так думает. Я сказала ему: «Папакис, если вдуматься, глупо носить одежду в жару. Хочешь, я буду единственной женщиной в Греции, которая летом не носит одежду?» – а он поцеловал меня в лоб и говорит: «Ты почти достаточно умна, чтобы быть моей дочерью», – и ушел. Я хотела встретить его голой, когда он вернется, правда хотела. Нельзя идти против обычая, просто нельзя, даже если этот обычай глупый; а что семья Мандраса скажет? Как я смогу вынести этот позор? Все, что у меня есть, – это козленок. Что я, должна прийти к ним в дом без ничего, только с козленком и тюком одежды? А кто сказал, что им нужен мой козленок?

Ну, тогда я не приду, раз нельзя взять козленка, вот так. Кто еще будет дуть ему в нос и чесать за ушками? Папакис не будет. И хоть бы папас прекратил писать на растения, в руки взять противно. Может, стоит посадить где-нибудь еще, потихоньку, и рвать там? Не могу же я просить у соседей, когда они прекрасно видят, что у нас у самих полно, и не могу же я, в самом деле, сказать им, что не беру нашу зелень, потому что она в моче. Ох боже ж ты мой! Ох господи! Как же я не сообразила. Черт! Ну почему я не подложила лоскут, прежде чем поднять кувшин? Дура, вот теперь кровь потекла. Ух, как жарко и липко. Наверное, я лучше потом вернусь за кувшином. Ну вот опять, переваливаться пять дней, как утка.

МАНДРАС (*выходит из устья гавани, поет*):

Плывите, дельфины, со мною плывите
И к рыбе сегодня меня приведите.
Если пребудет со мною везенье,
Поставлю хорошее вам угощенье.
Сети с водорослью тяжки —
Бусы-бисер для милашки.
Коль улов издохлой мышки —
То ни дна вам, ни покрывки.
Мне б корзину камбалушки —
Жемчуг-кружево подружке.

Не будет приданого. Видит Бог, я люблю ее, но что люди

скажут? Скажут, доктор Яннис считает, что я недостаточно хорош, вот что. И он вечно называет меня дураком и идиотом и говорит, что я слишком большой баламут, чтобы стать хорошим мужем. Ладно, я дурак. Мужчина всегда глупеет, когда дело касается женщины, — это каждый знает. А доктору я нравлюсь, я знаю, он все время спрашивает, когда я собираюсь просить его согласия жениться на Пелагии, и делает вид, что ничего не замечает, когда я прихожу с ней поболтать. Беда в том, что с ней я не могу быть самим собой. Я хочу сказать, что я серьезный человек. Думаю о разных вещах. Слежу за политикой, знаю разницу между роялистом и венизелистом. Я серьезный, потому что я не просто погулять вышел; я хочу улучшить мир, хочу сыграть свою роль в событиях. Но когда я с Пелагией, мне будто снова двенадцать. То Тарзана на оливе показываю, в следующую секунду делаю вид, что дерусь с козленком. Выпендрож это, вот что это такое — а что мне еще делать? Не представляю, как это я скажу: «Пошли, Пелагия, давай поговорим о политике». Женщины этим не интересуются, они хотят, чтобы их развлекали. Я никогда не говорил с ней о том, как смотрю на разные вещи. Может, она тоже думает, что я дурак. Я не ее уровня, я знаю. Доктор учил ее итальянскому и немного английскому, и дом их больше нашего, но я-то не хуже. По крайней мере, я себя хуже не считаю. Они не обычная семья, вот и все. Не как другие. Доктор говорит что хочет. Я часто просто не понимаю, где я. Легче было бы влюбиться

в Деспину или Поликсену. Может, если б у меня был «период странствий», я бы набрался опыта. В смысле, вот доктор плавал по всему миру, в Америке даже был. А где я был? Что я знаю? Был на Итаке, Занте и Левкасе. Великое дело. Нет у меня никаких историй и сувениров. Никогда не пробовал французского вина. Он говорит, что в Ирландии дожди каждый день, а в Чили есть пустыня, где совсем не бывает дождей. Я люблю Пелагию, но знаю, что никогда не стану мужчиной, пока не совершу что-нибудь важное, что-нибудь великое, что-то такое, с чем бы я мог жить, за что уважают. Поэтому я надеюсь, что будет война. Я не хочу кровопролития и славы, я хочу ухватиться за что-то. Мужчина не мужчина, пока не побыл солдатом. Я вернусь в форме, и никто не скажет: «Мандрас приятный парень, но в нем ничего нет». И тогда я буду достоин приданого. Ага, дельфины! Немного руля, перебрасываем кливер. Нет-нет, не плывите ко мне, я иду к вам! Надеюсь, вы не просто играли. Ага, это, наверное, дельфин Космас, дельфин Нионий и дельфиниха Кристал. Калимера, мои улыбчивые дружки! Отойдите, я разматываю сеть, и в этот раз не забирайте слишком много рыбы из ячеек. Мать твою, я ужарел, прыгаю в воду! Одежду долой, бросаю якорь. Берегитесь дельфины, я прыгаю! Иисусе, хорошо-то как! Что может быть лучше морской воды, когда все так спеклось между ног! Что может быть лучше, чем вот так скользить, держась за плавник дельфина! Плыви, Кристал, плыви! Черт, как жжет.

ПЕЛАГИЯ (*во время сиесты*): Ужасно жарко. Дверь пошевелилась. Кто это? Мандрас? Нет, не глупи, нельзя просто подумать о ком-то, и он придет. Говорят, есть такие призраки живых людей. О, это ты, Кискиса. О, нет, нет! Почему у нас не собака, как у других? Или даже кошка? Нужно было заводить себе куницу, которая не отдыхает в сиесту. Убейся. Сколько ты еще собираешься расти? Не могу я спать, когда на груди полтонны. Лежи спокойно. М-м, почему ты всегда так сладко пахнешь, Кискиса? Опять воровала яйца и ягоды? Почему ты сама не ловишь мышей? Мне надоело их перемалывать. Почему ты не ходишь по полу, как другие? Что за удовольствие летать по комнате, не касаясь пола? М-м, какая ты милая, я так рада, что Лемони тебя нашла. Правда, рада. Хорошо бы ты была Мандрасом. Хочу, чтобы Мандрас лежал у меня на груди. Господи, жарко. Как ты терпишь эту шубу, Кискиса? Хорошо бы ты была Мандрасом. Интересно, что он делает? Наверное, на ветерке, в открытом море. Интересно, как его задница? Папакис говорил, что у него очень красивая задница. Вся в терракоте. «Зад классической статуи, очень хороший зад», – сказал он. Если я закрою глаза, протяну руки и помолюсь святому Герасиму, может, когда я открою глаза, у меня на груди будет Мандрас, а не Кискиса? Не везет. Не везет, Кискиса. Он такой красивый. И такой забавный. У меня живот болел от смеха, пока он не свалился с дерева. Вот тогда я узнала, что люблю его, мне стало

страшно, когда он упал на горшок. Я крепко обниму Кискису, будто это он, может, тогда он почувствует? Надеюсь, у тебя нет блох. Я не хочу красных точек по всем рукам. У меня лодыжка вчера чесалась, и я подумала на тебя, Кискиса, но, наверное, просто колючкой ободралась. Когда он попросит меня выйти за него? Говорит, у него мать не очень приятная. Как можно так говорить о своей матери? Если бы я помнила митеру⁴⁷. Бедная митера. Умерла, высохла, как скелет, и кровью кашляла. Такая красивая на фотографии, такая молодая и довольная, а руку на его плече держит так, что сразу можно сказать: она его любит. Если бы она была жива, я бы знала, что делать с Мандрасом, она бы заставила папакиса передумать насчет приданого. Он парень несерьезный, и я сомневаюсь. Такой смешной, но поговорить с ним не о чем. Нужно же уметь обсуждать с мужем всякие вещи, правда? Ему все шуточки. Зато остроумный, а поэтому, надеюсь, не дурак. Я говорю: «Война будет?» – а он только ухмыляется и отвечает: «Какая разница? А поцелуй будет?» Не хочу, чтоб война была. Пусть не будет войны. Пусть Мандрас будет стоять у входа во двор с рыбой в руках. Пусть каждый день будет Мандрас с рыбой. Правда, меня уже немного тошнит от рыбы. Ты заметила, Кискиса? Каждый раз, когда он приносит рыбу, ее все больше оказывается у тебя в миске.

МАНДРАС (*чинит сети в гавани*): Вчера Британская ко-

⁴⁷ Маму (*греч.*).

лония в Сомали сдалась итальянцам. Сколько еще времени пройдет, пока они атакуют нас из Албании? А там, кажется, были танки против верблюдов. А я тут без толку торчу на острове. Сейчас время мужчинам быть при деле. Арсений написал от меня письмо королю, что я хочу стать добровольцем, и пришел ответ из администрации самого Метаксаса, что меня призовут, когда понадобится. Ладно, сегодня заставляю его написать снова и сказать: хочу, чтобы меня призывали немедленно. А как я Пелагии скажу? Одно знаю: я попрошу ее выйти за меня до отъезда, с приданым или без. Попрошу согласия ее отца, потом встану на одно колено и сделаю предложение. И никаких шуточек. Хочу, чтобы она поняла, что, защищая Грецию, я буду защищать ее и вообще всех женщин. Это вопрос национального спасения. Долг каждого – сделать все возможное. И если я погибну – но это очень плохо, – я погибну не напрасно. Умру с именем Пелагии и с именем Греции на устах, потому что в итоге это одно и то же – это святыня. А если выживу, всю оставшуюся жизнь буду ходить с высоко поднятой головой и вернусь к моим дельфинам и сетям, и каждый скажет: «Это Мандрас, который сражался на войне. Мы всем обязаны таким людям, как он», – и ни Пелагия, ни ее отец не смогут поглядывать на меня и обзывать дураком и идиотом, и я всегда буду больше, чем какой-то там рыбак с терракотовыми осколками в заднице.

ПЕЛАГИЯ (*берет клефтико*⁴⁸ *из общинной духовки*): Где же Мандрас? Обычно он уже здесь в это время. Хочу, чтобы он пришел. Просто чуть дышу – так хочется, чтобы он пришел. Опять руки дрожат. Лучше уберу с лица эту глупую улыбку, а то все скажут, что я сумасшедшая. Приди, Мандрас, приди, пожалуйста, я не отдам свою порцию рыбы Кискисе. Только кишки, хвост и голову. Останься пообедать и погладь мою ногу своей, Мандрас. Разве Кискиса недостаточно взрослая, чтобы самой разгрызать мышей? Я такая глупая, делаю по привычке что не нужно. Останься пообедать.

⁴⁸ Запеченный с травами цыпленок (*греч.*).

12. Все чудеса святого

Ничто не изменилось на острове, не было никаких предзнаменований войны, сам Господь оставался невозмутим магией величия и разрушением, что охватили мир. 23-го августа святая лилия перед демундсандатской иконой Богородицы пунктуально прорвалась из своего высохшего бутона и утешительно распустилась, возобновляя чудо и укрепляя благочестие верующих. В середине месяца в Маркопуло скопище неядовитых змей, неизвестных науке, украшенных черными крестами на головах, с кожей, подобной бархату, вылезло из явного небытия. Корчась и переползая, они заполнили улицы, приблизились к серебряной иконе Богородицы, водворились на епископский престол, а по окончании службы исчезли тихо и необъяснимо, как и появились. В громадных руинах замка Кастро, высоко над Травлиатой и Митакатой, воинственные призраки римлян требовали пароль у норманнов и французов, а тени английских солдат играли в кости с тенями турок, каталонцев и венецианцев в промозглых и не обозначенных ни на каких картах лабиринтах подземных водоемов, тоннелей и рудников. В павшем венецианском городе Фискардо ревуший призрак Гвискарда вышагивал по крепостным валам, истощно требуя греческой крови и сокровищ. На северной оконечности Аргостолиона море, как всегда, пролилось в береговые стоки и необъяснимо

исчезло в недрах земли, а в Паликии камень, известный как Кунопетра, непрерывно двигался в своем неизменном ритме. Жители Манзавинаты, предсказуемые, как и сам камень, никогда не упускали возможности сообщить всем, кто соглашался слушать, что некогда флотилия британских боевых кораблей набросила цепь на Кунопетру и не смогла сдвинуть его; один небольшой греческий камень противостоял мощи и научной любознательности величайшей из известных человеку империй. Вероятно, стоит упомянуть и французскую экспедицию, вновь не сумевшую достичь дна озера Аколи, и озадаченного зоолога из Вайоминга, подтвердившего доклад видного историка Янниса Косты Лавердоса, что дикие зайцы и некоторые козы на горе Айя-Динати обладают золотыми и серебряными зубами.

Еще со времен, когда богиня Ио поспособствовала убийству Мемнона Ахиллом и ускорила несчастный случай с Прокридой, погибшей от рук ничего не подозревавшего собственного мужа⁴⁹, остров был чудом из чудес. И это не удивительно: остров обладал уникальным по своей природе святым; казалось, его божественная сила слишком велика и лучезарна, чтобы храниться в нем.

Святой Герасим, усохший и потемневший, запечатанный в куполообразном позолоченном саркофаге, стоявшем у гор-

⁴⁹ Прокрида – жена охотника Кефала, от которого остров получил название «Кефалония», ревновала мужа и подсматривала за ним из кустов. Она случайно пошевелилась, Кефалу показалось, что в кустах прячется дичь, он метнул дротик и убил Прокриду.

него места в алтаре монастыря его имени, пять веков как упокоившийся, ночью восстал. Убранный алыми и золотыми одеждами, драгоценными камнями и старинными орденами, он, потрескивая и поскрипывая, осторожно прокладывал путь среди своей паствы грешных и страждущих, навещал их дома, иногда переносясь и за границу, в родной Коринф, чтобы поклониться костям предков и побродить среди холмов и рощ юности. Но послушный долгу, святой всегда возвращался к утру, вынуждая ухаживавших за ним болтливых монахинь счищать грязь с его туфель из золотой парчи и придавать его истощенным и иссохшим конечностям позу мирного упокоения.

Настоящий святой, подлинный праведник, не имеющий ничего общего с мнимыми и сомнительными святыми других вероисповеданий. Он не позорил свет инквизицией, как святой Доминик, не был пятиметровым гигантом с людоедскими наклонностями, как святой Христофор, и не убивал по неосторожности очевидцев своей смерти, как святая Катерина. Он не был также неполным святым, как святой Андрей, сумевший оставить только подошву правой ноги в женском монастыре вблизи Травлиаты. Подобно святому Спиридону Корфускому, Герасим прожил примерную жизнь и оставил свою брэнную оболочку целиком – как источник вдохновения и как улику.

Он стал монахом в двенадцать лет, провел такое же число лет в Святой Земле, пять лет находился на Занте и в конце

концов обосновался в пещере на Спилле с тем, чтобы преобразовать монастырь Омалы, где собственноручно посадил платан и выкопал колодец. Он был настолько любим ordinarily циничными островитянами, что ему посвятили два праздничных дня: один в августе и один в октябре; мальчиков дюжинами называли в его честь; в него верили горячее, чем в самого Создателя; и, находясь на своем Небесном престоле, он уже привык к тому, что люди ругались и проклинали его именем. В два дня праздника он снисходительно закрывал глаза своей души на то, что все население острова напивалось вдребезги.

Это случилось за восемь дней до того, как Метаксас отклонил ультиматум Дуче, хотя могло произойти и в любой праздничный день за последние пять сотен лет.

Из солнца ушла вся яростность, день стоял восхитительно теплый, без угнетающей жары. Легкий ветерок бродил среди олив, шелестя листьями, и каждый листок вспыхивал замысловатым семафором серебряного и темно-зеленого. Маки и маргаритки покачивались в траве, еще пожухлой после жары, но уже начинавшей зеленеть, а пчелы трудились почти в каждом цветке, будто зная о наступлении осени; их бесчисленные улы по капле заполнялись чистым темным медом, который островитяне убежденно считали лучшим на свете. Высоко на горе Энос стервятники выискивали трупы невезучих или неловких коз, а внизу на равнине черные сицилийские певчие птички порхали и бранились в шиповнике.

Бесчисленные ежики рылись и сопели под ним, предусмотрительно оборудуя гнезда из травы и листьев в предвиденье холодных дней, а на прибрежные отмели понабросало каких-то обломков кораблекрушений, которые при ближайшем рассмотрении оказывались полуразобранными лодками – их вытянули для осмотра на берег, чтобы потом проконопатить и просмолить. Тропические растения южной части острова выглядели менее пышными, точно втягивали сок в себя или задерживали дыхание, и фиговые деревья выставляли тяжелые пурпурные плоды среди незрелых зеленых, что созреют лишь на следующий год, когда станут официальным плодом римских фашистов.

На рассвете Алекос погладил ложе своего древнего ружья и решил не брать его – на святых праздниках всегда слишком много несчастных случаев, а это портит впечатление от чудес. Он завернул оружие в одеяла и вышел в туман взглянуть, как там козы; собираясь предоставить их самим себе на целый день, он был уверен, что святой охранит их. Он знал, что на всем долгом пути вниз с горы Энос будет слышать протяжный звон их колокольцев и играть сам с собой в игру, угадывая звук каждого. Почти непереносимое возбуждение охватило его: он заранее представлял исцеления припадочных и безумных. Кого святой выберет на этот раз?

В деревне отец Арсений опрокинул в себя бутылку «ро-молы» и потер слипавшиеся глаза, непривычные к трудности раннего подъема, а Пелагия с отцом привязали козленка це-

пью к оливе и заперли Кискису в шкаф, где она не найдет ничего, что можно разорвать на кусочки. Коколис недолго поборолся со своими коммунистическими убеждениями по поводу «опиума для народа» и затем надел-таки одежду жены. Стаматис склеивал и примерял остроконечную бумажную шляпу, а его супруга нарезала ломти сыра, сворачивала леденцы «розоли» и «мантола» и запоминала, на что пожаловаться святому. Мегало Велисарий погрузил свою кулеврину на спину здоровенного быка, одолженного у четверо-родного брата, и предвкушал, как выиграет гонку. Он зарядил пушку кусочками серебряной и золотой фольги и с нетерпением ожидал вздохов восхищения толпы, когда сверкающий заряд выстрелит в небо, а затем, порхая, опустится дождем из металлических бабочек.

В монастыре маленькие румяные монахини будили многочисленных гостей и паломников в уютных гостевых комнатах, полных ярких умывальников и кувшинов для воды, взбивали вышитые подушки, развешивали роскошные полотенца и выметали пыль. Сами они жили в спартанских комнатках – там не было ничего, кроме расползавшихся подстилок на маленьких скрипучих кроватях с колесиками и темных икон на стенах. Их удовольствие состояло в том, чтобы угождать другим и, слушая с изысканно-жадным вниманием повести о горе и предательстве, складывать из кусочков услышанного образ внешнего мира. Лучше было слушать, чем жить в нем, – в этом они были убеждены.

В близлежащем сумасшедшем доме другие монахини одевали обитателей в чистое платье и гадали, кого же из них исцелит аура святого? Довольно часто он отказывал в исцелении, но, несомненно, его великое милосердие (а может – тщеславие) само по себе служило гарантией исцеления кого-нибудь из несчастных. Будет ли это Мина, которая пронзительно, по-птичьи кричит и невнятно бормочет, не узнаёт никого и обнажается перед всяким, кто не проявит осторожность? Будет ли это Дмитрий, который бьет окна и бутылки и ест стекло? Мария, которая воображает себя американской королевой и даже докторов заставляет приближаться к ней на коленях? Сократ – жертва неврастения настолько, что даже поднять вилку для него – и то ответственность невыносимая, от чего он начинает рыдать и вздрагивать? Монахини верили, что жить подле святого – само по себе мягкая форма лечения, а безумные в моменты просветления гадали, когда же наступит их черед. Святой выбирал себе пациентов без видимой логики и последовательности: некоторые умирали, прождав по сорок лет, другие же в один год прибывали с записью об атеизме и предосудительном поведении, а уже на следующий – отбывали восвояси, излечившись.

На красивых луговинах долины и среди платанов, выстроившихся вдоль дороги на Кастро, уже два дня как собирались паломники и корибанты, некоторые – действительно издалека. Родственники безумных уже поцеловали руку святого и помолились вместе об исцелении своих любимых, по-

ка монахини чистили позолоченную утварь, наполняли церковь цветами и зажигали гигантские свечи. Места в церкви заполнялись теми, кто был едва знаком друг с другом и освежал дружеские отношения оживленными и многоречивыми беседами, что негреки ошибочно приняли бы за непочтительность. На улице паломники разгружали животных, навьюченных фетой⁵⁰, дынями, приготовленной дичью, мясным пирогом, которыми делились с соседями, и проходились по адресу друг друга сатирическими стишками. Смеющиеся девушки прогуливались группками под руки, искоса поглядывая с улыбкой на потенциальных мужей и возможные источники флирта, а мужчины, делая вид, что не обращают на них внимания, стояли кучками и обсуждали важнейшие мировые проблемы, жестикулируя и размахивая бутылками. Священники роились, как пчелы, с невероятной серьезностью обсуждая богословские вопросы, а их седые бороды, вкупе с сияющими черными ботинками и развевающимися рясами, придавали им вид патриархов; они терпеливо сносили льстивые вмешательства верующих, которые не могли найти более благовидного предложения для разговора, кроме как спросить, прибудет тот или иной епископ или же нет.

Но на самом деле сцены пасторального веселья и духовного достоинства были призваны замаскировать растущее беспокойство в сердцах всех присутствовавших, тревогу ожи-

⁵⁰ Брынза (греч.).

дания, страх стать свидетелями чего-то, не объяснимого механистически, какой-то трепет, что охватывает тех, кто вот-вот увидит, как падает завеса между этим и потусторонним миром. Эта особая взволнованность уже начинала теснить грудь и выжимать из глаз слезы, когда только колокол возблаговестил о начале службы.

Все зашевелилось, послышался гул голосов – народ стал протискиваться в и так забитую до отказа церковь. Люди теснились во внешнем дворике, кое-кто пристроился и на погосте священников. В разных местах толпы Алекос, Велисарий, Пелагия, доктор Яннис, Кокотис и Стаматис вытягивали шеи, чтобы расслышать далекие речи священника. Когда люди в церкви крестились, те, что стояли у дверей, осеняли себя знамением чуть погодя, затем – те, кто стоял за ними, а потом и в задних рядах, так что по толпе пробегала рябь движений, как от брошенного в омут камня.

Солнце взбиралось выше, и люди, притиснутые друг к другу, начали потеть. Липкая жара стала просто нестерпимой, но вот пропели хвалу, служба завершилась, и толпа потекла обратно, шаркая ногами и толкаясь, причем те, кому не повезло с местом в церкви, вдруг обнаружили, что счастье переменилось и теперь у них – места в первом ряду, прямо у платана святого.

Внутри церкви носильщики подняли тело святого, а под деревом счастливые монахини приводили в порядок и обустроивали непредсказуемое и сумасбродное собрание безум-

ных, по преимуществу подавленных и объятых ужасом, ошеломленных хаосом всех этих незнакомых лиц, теснившихся вокруг. Пожиратель стекла завыл. Королева Америки, глубоко взволнованная прибытием своих подданных, приняла позу в высшей степени подобающую царственному лицу, а Сократ с несчастным видом уставился на свою правую ступню, двинуть которой было испытанием слишком суровым. Он собрался и сделал волевое усилие, которое, к его ужасу, пошевелило указательный палец. Он старался приложить усилие воли, чтобы остановить его, но не мог сделать волевого усилия, чтобы вызвать усилие воли. Скованный бесконечным возвращением невозможного, он замер абсолютно неподвижно и укрылся в калейдоскопе несвязных образов, проносившихся перед его внутренним взором. Одна из монахинь отерла слезы с его лица и поспешила успокоить пожирателя стекла. Другие пришли ей на помощь, склоняя пациентов полежать или посидеть.

Мина сидела под раскидистым деревом, положив руки на колени. Несмотря на толпу людей, несмотря на осязаемую завесу, отделявшую ее мир от их мира, она испытывала нечто вроде покоя, что прорезался сквозь невнятное бормотанье ее мыслей. Она смотрела на ослепительную побелку церкви и понимала, что это – церковь. «Яйца горлиц», – подумала она, а затем вспомнила кусочек бессмысленного стишка из своего детства. Вдруг она поднялась и начала задира́ть платье, но монахиня мягко принудила опустить его.

Она подчинилась, рассеянно прислушиваясь к звучащему у нее внутри сумбуру голосов. Иногда голоса кричали или визжали, и она не могла избавиться от них, даже забиваясь в угол или колотясь лицом о стену. Временами они заставляли ее сделать что-нибудь, угрожая, что не уйдут, пока она не исполнит, что велено. Иногда они заставляли ее всю чесаться, пока она в неистовстве не раздирала кожу ногтями, а иногда говорили ей, чтобы перестала дышать. Охваченная вихрем паники, она чувствовала, как у нее замирают легкие и почти до полной остановки замедляется сердце. Иногда между ней и миром разверзалась пропасть – такая глубокая, что если заглянуть в нее, увидишь под ногами бездонную пустоту, – и тогда она начинала метаться, стараясь найти опору, сталкиваясь с невидимыми предметами, набивая синяки и кровотока. Временами, переполненная страхом, она так сильно потела, что становилась скользкой, и монахини не могли удержать ее – она выскальзывала, падала на пол лечебницы, рыдая и отхаркиваясь. Но хуже всего, когда она видела лица вокруг себя, знала, что они на нее смотрят, знала, что они замышляют убить ее; и она поднимала юбки, чтобы скрыть свое лицо, словно с помощью этого чуда могла стать для них невидимой. Но когда бы она это ни делала, откуда-то появлялись руки, снова сдергивали юбки вниз, и ей приходилось бороться со всей силой своего отчаяния, чтобы поднять их. Затравленная и израненная, Мина опустилась на траву и съежилась, а неясная тень тем временем приблизилась и прошла

сквозь нее.

Доктор Яннис и Пелагия оказались в первых рядах толпы и с возраставшим волнением наблюдали, как над лежащими сумасшедшими проносят украшенное тело святого. Никогда с телом не обращались с большей заботливостью и большей уважительностью – нельзя было ни качнуть, ни потревожить его на носилках. Носильщики осторожно переступали через конечности безумных, а обеспокоенные семьи удерживали своих недужных родственников, молотивших руками и бившихся в конвульсиях. Глаза пожирателя стекла закатились, на губах выступила эпилептическая пена, но он оставался неподвижным. У него не было семьи, которая могла бы его удерживать, и он сам вбирал для этого от святого силы. Он увидел, как мимо его носа проплыла пара расшитых туфель.

Когда святого унесли, люди принялись с жадным нетерпением рассматривать больных – не изменилось ли что-нибудь. Кто-то увидел и указал на Сократа. Тот потряхивал плечами, точно атлет перед броском копья, и с изумлением рассматривал свои руки, поочередно двигая пальцами. Внезапно он поднял взгляд, увидел, что все смотрят на него, и застенчиво помахал рукой. Толпа исторгла неестественный вой, а мать Сократа пала на колени, целуя руки сына. Она поднялась, взбросила руки к просторному небу и вскричала:

– Славьте святого! Славьте святого! – и мгновенно всех присутствующих охватило истерически-возбужденное благоговение. Доктор Яннис потащил Пелагию от неминуемой

давки, отирая пот с лица и слезы с глаз. У него дрожала каждая клеточка тела, и он видел – то же происходит с Пелагией.

– Чисто психологическое явление, – бормотал он про себя – и неожиданно поразился, насколько он неблагодарен. Церковный колокол неистово затрезвонил, а монахини и священники пристойно отпихивали друг друга, чтобы подергать веревку.

Начался карнавал – в движение его привели как общее облегчение и необходимость прийти в себя, избавившись от мурашек на коже, так и природная тяга к празднествам, свойственная островитянам. Велисарий позволил Лемони поднести спичку к запальному отверстию пушки, раздался мощный грохот, и сверкающий дождь фольги опустился, порхая, подобно золотистым чешуйкам Зевса. Сократ шел блаженный от изумления среди шквала рук, хлопавших его по спине, и урагана поцелуев, которыми покрывали его руку.

– Это праздник святого? – спрашивал он. – Я знаю, это глупо, но я совсем не помню, как это бывает.

Его втянули в танец – молодежь из Ликзури танцевала сиртос.

Маленький импровизированный оркестр из волынки-аскоцобуно, свирели, гитары и мандолины кружил на пути к гармонии по разным лимбам музыкального компаса, а чудесный баритон – каменотес – сочинял в честь чуда песню. Он пел одну строчку, ее повторяли танцоры, а он тем временем придумывал следующую, пока песня с собственной мелоди-

ей не возникла целиком:

Чудесным юным днем пришел я
посмотреть на девушек и потанцевать,
как приходит язычник, думая лишь о вине и еде.
Но святой смысл сомнение с глаз моих
и открыл мне, что Бог добр...

Шеренга симпатичных девушек, держась за руки, переступала с ноги на ногу, а перед ними ряд юношей поочередно отбрасывал назад ноги и вскидывал головы, подскакивая легко, как сверчки. Сократ взял красный шарф ведущего танцора и к восхищению зрителей исполнил такой атлетический и зрелищный «цалимия»⁵¹, какой вряд ли кто видел. Его ноги сплетались и взлетали выше головы, а из груди вырывались слова песни: он впервые познал истинные возбуждение и облегчение. Его тело прыгало и кружилось без малейшего усилия воли, мускулы, о существовании которых он давно забыл, шелкали, как стальные, и он почти чувствовал, как само солнце блестит на зубах, когда его лицо разъезжалось в широченной неудержимой улыбке. В голове подрагивало мяуканье волынки; внезапно он взглянул на облака на горе Энос, и его поразила мысль: должно быть, он умер и попал в рай. Он вскинул ноги еще выше, и сердце у него запело, как птичий хор.

⁵¹ Элемент национального танца.

Компания из Аргостоли со своим оркестром начала танцевать «диваратико», вызывая насмешки ликзурийцев и одобрение аргостолийцев, а на дальней стороне луговины группа рыбаков, известных как «тратолои»⁵², открывала бутылки и страстно пела все песни, что неделями оттачивали в тавернах Панагопулы после того, как поделят дневную прибыль, подразнят друг друга, поспорят из-за барыша, поедят оливок и «прецы» и, наконец, достигнут того состояния, когда пение естественно и неизбежно.

Вместе они пели кантату:

Саду, где сидишь ты,
Не нужны цветы.
Ты сама – цветок расцветший,
И только глупец или слепой
Не увидит этого.

Быстрые арпеджио гитары затихли, и тенор начал ариетту. Его голос взмыл на самый верх диапазона, перекрывая болтовню толпы и даже грохот велисарьевой пушки, пока не вступили его друзья и не вывели замысловатое полифоническое созвучие мелодии, которую он сочинял, сойдясь в конце в единственно верной тональности; морское братство предъявило окончательное доказательство своего метафизического единства.

⁵² Любители национального танца «трат».

Среди песен и танцев маленькие монахини торили дорожку, оставляя в кильватере изобилие вина и еды. Те, кто уже был пьян, начинали насмехаться друг над другом, местами насмешка оборачивалась оскорблением и даже тумакami. Доктор Яннис покинул сыр и дыни, чтобы останавливать кровь из носов и порезов от разбитых бутылок. Женщины и наиболее благоразумные мужчины передвинули свои подстилки подальше от компаний, грозивших стать буйными. Пелагия перешла ближе к монастырю и села на лавочку.

Она наблюдала, как новые танцоры расцветивают святой праздник своим карнавалом. Там были мужчины, нелепо одетые в тесные белые рубашки, белые юбки-фустанеллы, белые перчатки и экстравагантные бумажные шляпы. Их украшали красные шелковые ленты, связки колокольчиков, золотые драгоценности и цепочки, фотографии любимых или короля, а сопровождали танцоров маленькие мальчишки, комически наряженные девочками. Все щеголяли в масках, веселых и гротескных – и был среди них Коколис, облаченный, несмотря на протесты жены, в ее праздничный наряд. У дороги несколько юношей в фантастических костюмах и с размаляванными лицами разыгрывали «бабаулии» – комические сценки, в которых от их шуток доставалось даже святому. Круговерть соперничавших полек, лансье, кадрили, вальсов и балло бросала толпу в хаос падавших тел, визга и ругательств. Пелагия углядела Лемони, серьезно пытавшуюся поджечь бороду опрокинутого наземь священни-

ка, и сердце ее подпрыгнуло, когда она заметила Мандраса, швырявшего хлопушки под ноги танцорам из Фискардо.

Она потеряла его из виду, а потом ее похлопали по плечу. Пелагия подняла взгляд: Мандрас уже растопырил руки, чтобы шутливо ее обнять. Она улыбнулась, несмотря на то что он был пьян, а Мандрас внезапно упал на колени и наигранно произнес:

– Съора, будьте моей женой! Будьте моей, или я умру!

– Почему ты называешь меня съорой? – спросила она.

– Потому что ты говоришь по-итальянски и иногда носишь шляпу. – Он глупо заухмылялся, а Пелагия сказала:

– Тем не менее, я вряд ли аристократка, и меня не следует называть съорой. – Она взглянула на него, и повисла пауза; это молчание обязывало ее ответить на предложение. – Конечно, я согласна, – тихо произнесла она.

Мандрас подскочил, и Пелагия заметила, что его штаны потемнели на коленях, потому что он стоял в луже вина. Он скакал и делал пируэты, а она, рассмеявшись, поднялась. Но стоять не могла – казалось, невидимая сила прилепила ее к лавочке. Она торопливо опустилась, осмотрела юбки и поняла, что Мандрас пришил их к лавке. Ее новообретенный жених повалился на траву, радостно завывая, но потом сел, придал лицу крайне серьезное выражение и сказал:

– Корициму, я люблю тебя всем сердцем, но мы не сможем пожениться, пока я не вернусь из армии.

– Иди поговори с отцом, – сказала Пелагия. Ей казалось,

что сердце поднялось к горлу и мешает дышать; она оцепенело бродила среди пирующих, стараясь переварить это противоречивое чудо. Ее беспокоило, что она не так счастлива, как должна быть, и она направилась в церковь – побыть со святым наедине.

День тянулся медленно, и Мандрас не сумел отыскать доктора до того, как опьянение победило его. Он спал ангельским сном в луже чего-то противного, но неопределимого, а поблизости Стаматис наставлял монархический нож на Кокколиса и грозил отрезать его коммунистические яйца, после чего кидался ему на шею и клялся в вечном братстве. Где-то из-за имущественного спора, который тянулся около ста лет, насмерть зарезали человека, а отцу Арсению взор затуманило так, что он принял Велисария за своего покойного отца.

Из, казалось бы, неподатливой анархии дня уже собирался вечер, когда настало время заключительной гонки. Мальчишки оседлали жирных козлов, маленькую девочку посадили на большую собаку, довольные пьяницы уселись задом наперед на ослов, оскорбленные и изнуренные лошади понурили головы, когда неимоверно грузные кабатчики карабкались по их бокам, а Велисарий уселся верхом на одолженно-го безмятежного быка.

Произошел фальстарт – его уже невозможно было исправить, – и восхитительный забег начался, не успел еще сигнальщик поднять свой платок. Маленькая девочка на большой собаке неслась по касательной к валявшимся обедкам

барашка, мальчишки подпрыгивали на брыкавшихся козлах, не двигаясь ни вперед, ни назад, ослы услужливо рысили в сторону от финишной линии, а лошади вообще отказались трогаться с места. И только бык со своим геркулесовым бременем тащился по прямой к дальнему концу луговины, и перед ним трусила лишь возбужденная, но без седока, свинья. Велисарий, общеизвестный победитель, прибыл к финишной черте, спешил и к изумлению и восторгу зрителей схватил быка за рога и одним мощным броском уложил его на землю. Бык лежал, недоуменно мыча, а Велисария унесли на плечах толпы.

Партии подвыпивших начали отбывать, горланя охрипшими голосами песню:

Мы покидаем поющих хвалу
В чудном драчливом угаре.
Мы пришли, как паломники,
И уматываем пьяными,
Как велит святой обычай.
Святой улыбается сверху,
А мы превозносим его,
Танцуя и валясь с ног.

Пелагия и доктор отправились домой, отец Арсений воспользовался гостеприимством монастыря, Алекос уснул в каменистом убежище на полпути в гору, а Кокотис и Стаматис затерялись в зарослях Троянаты – каждый разыскивал

свою жену соответственно.

Возвращенная в сумасшедший дом Мина сидела на кровати и не понимала, где она. Она щурилась и разглядывала свои ноги, отмечая, что ступни очень грязные. Ее дядюшка вошел попрощаться до следующего года. К его изумлению, она весело улыбалась.

– Тейо, ты пришел забрать меня домой?

Родственник ошарашенно постоял, недоверчиво вскрикнул, завертелся, воздев кулаки, от полнейшей радости исполнил три танцевальных шага «каламатанос» и, раскачивая ее в объятиях, снова и снова восклицал: «Эфхаристо! Эфхаристо!»⁵³. Она узнала его, она больше не бормотала что-то невнятное, ей больше не хотелось задирать юбки, она была в своем уме и в двадцать шесть лет еще могла выйти замуж – с приданым и чуточкой удачи. Он посылал небесам воздушные поцелуи и пообещал святому, что найдет для нее приданое, даже если это его прикончит.

Казалось, Герасим, сотворив в этом году два чуда, скромно решил сделать одно из них менее безотлагательно сенсационным, чем другое. Пожиратель стекла и его собратья скорбно наблюдали за отъездом Мины и мучительно гадали, как долго святой заставит ждать их.

⁵³ Благодарю (*греч.*).

13. Исступление

Мандрас не показывался два дня после праздника святого, предоставив Пелагии волноваться в мучительной тревоге. Не представляя, что же могло с ним случиться, она изобретала одну за другой причины его отсутствия, чувствуя, что его недостает все больше и больше. Это грозило затмить все существующие в обычной жизни вещи и обязанности.

Возвращаясь с отцом с праздника, она пришла к заключению, что легкомысленность отцовской болтовни обусловлена комбинацией выпивки и того, что Мандрас его все же не разыскал. На каждом шагу ей хотелось прервать поток замечаний о психологической природе чудесного и удивительно грубых наблюдений того, что происходило в стороне от праздника; ее разрывало от неудержимых тревоги и счастья, и больше всего на свете хотелось сказать о предложении Мандраса. Это сообщение весило больше целого мира, и ей требовалось, чтобы отец разделил с ней такую ношу. Доктор же не замечал ее пылающих щек, рассеянного внимания, повышенной склонности спотыкаться о камни, подчеркнутой жестикуляции и глуховатого от волнения голоса; он достиг именно той стадии опьянения, когда приподнятое настроение колеблется на грани тошноты и неустойчивости, и решил отправиться на покой. Счастье его было таким, что предотвращало какую бы то ни было восприимчивость к со-

стоянию души дочери, и она так и не поделилась своей новостью, даже когда они подошли к дому, где доктор сграбастал философствующую Кискису и провальсировал с ней по двору, а потом помочился на мятую и удалился спать – дыша перегаром и не сняв одежды.

Пелагия тоже отправилась в кровать, но спать не могла. Ущербная луна проскальзывала сквозь филенчатые ставни лучиками сверхъестественного серебряного света и, сговорившись с энергично пилившими плотниками-сверчками, заставляла Пелагию лежать на спине с широко открытыми глазами. Спать совершенно не хотелось. Ее мысль бесконечно петляла, вновь представляя события дня: чудо, песни и танцы, драки, гонку, предложение. Она то и дело возвращалась к этому. Ход воспоминаний сбивался с колеи и каждый раз сворачивал к красивому мальчику, стоящему на коленях у ее лавочки: Мандрас на коленях в луже вина, Мандрас, такой красивый, светящийся и юный, Мандрас, изящный, как Аполлон. Она вся покрылась испариной, когда воображение слило их в объятиях, превратило его в демона, представило, как сплетаются их руки и ноги, как она ласкает его спину, дало почувствовать нежное прикосновение языка к ее груди и податливую тяжесть его тела.

«Я люблю тебя», – призналась она, и тут же сомнения набросились на нее, словно нашествие маленьких невидимых дьяволов. Замужество – такая серьезная вещь, оно означает отказ от своей жизни ради другого. Оно означает уход из до-

ма отца, рождение детей и неустанную работу вместо этой нежной идиллии с ее мнимыми трудностями, спокойным порядком вещей, близкими и понятными причудами. У нее все восстало внутри от одной мысли, что придется кого-то слушаться и подчиняться кому-то, кроме отца, чьи распоряжения, сколь бесцеремонными и повелительными ни казались, на самом деле были просьбами, прикрытыми иронией. А как поведет себя Мандрас? Насколько она действительно знает его? Какие у нее доказательства, что он терпелив и человечен? Он приносит подарки – это правда, но не прекратятся ли они после того, как скрепят сделку? Не слишком ли он молод и порывист? Есть в его движениях, необдуманных ответах что-то чересчур решительное; можно ли доверять тому, кто отвечает сразу, не подумав? Тому, чьи все слова и поступки – скорее от воображения, чем из здравого размышления? Ей стало страшно от подозрения, что он может оказаться каким-то жестокосердным. «Может, он “ромой”, – думала она, – и даже сам не знает об этом?» А как определить различие между желанием и любовью? Она прислушалась к жестяному зудению комара и сравнила своего жениха с отцом. Отца она обожает, да, – это любовь. Но что у такой любви общего с чувствами к Мандрасу? Может ли услужение ему больше восприниматься как свобода? Или это просто разные виды любви? Если то, что она испытывает к Мандрасу, не любовь, тогда отчего у нее перехватывает дыхание, откуда это бездонное и беспрестанное страстное желание, что су-

шит горло и вызывает трепет? Почему это чувство, как Бог или диктатор, необъяснимо, непреодолимо повелевает ею? Почему кажется, что оно, как изречения папира Арсения, имеет силу закона, но не подчиняется нормам и правилам? Луна переместилась за оливу и теперь отбрасывала на стену тень непрестанного шелеста листьев; меланхолические козы колокольцы с горы Энос звенели в нежной прохладе ночи, и было слышно, как во дворе добывает себе пропитание Кис-киса. «Сама ловит мышей», – подумала Пелагия, прислушиваясь к беспокойному голоду собственного тела. Она подумала о переменчивой *joie de vivre*⁵⁴ куницы – как невинна она, как естественно поглощена лишь самою собой, – и совершенно неожиданно поняла, что променяла беззаботность юности на что-то очень похожее на несчастье. Она представила, что Мандрас умер, и, когда потекли слезы, потрясенно ощутила – ей стало легче. Сурово отогнав такие мысли, она сказала себе: я – подлая.

Утром она отправилась во двор и занялась делами, которые нарочно придумывала себе, чтобы сразу увидеть его, как только он появится у поворота дороги – того самого, где Велисарий его подстрелил. Осмотрев жующего козленка – нет ли клещей, – она выжгла их горячей иглой и снова взъерошила жесткий мех. Она постоянно посматривала на дорогу – не Мандрас ли прошел. Отец отправился в кофейню завтракать, а ей пришлось в голову, что у Кискисы тоже могут

⁵⁴ Радость жизни (*фр.*).

быть клещи. Пелагия усадила зверька на стену еще ближе к дороге и прочесала пальцами шерстку. Потом уткнулась лицом в мягкий мех на брюшке куницы, и от сладости запаха ей сразу же стало грустно и спокойно. Кискиса выгибалась и пищала от удовольствия, а деловитые пальцы девушки обнаружили двух блох и придавили их ногтями. Не желая уходить от стены, Пелагия энергично расчесала куницу и вытащила колтуны. Уложив Кискису себе на шею, она решила принести воды, потому что для этого следовало пройти поворот. Кискиса уснула, а Пелагия присела у колодца и разговаривалась там с женщиной, но даже не понимала, о чем они сплетничают, поскольку все время стреляла глазами по сторонам. Ей уже становилось немного не по себе. Она принесла воды – больше, чем нужно, – и решила полить растения. Устав ждать, она села в тени оливы, положив руку на тощую шею козленка. Тот продолжал безучастно жевать, будто никакого другого мира, кроме его собственного, не существует. Страстное желание перешло в нетерпение, а затем и в раздражение. Чтобы досадить Мандрасу, Пелагия решила пойти прогуляться. Так ему и надо – придет, а ее нет. Она пошла по дороге ему навстречу, посидела на стене, пока не стало слишком жарко, а затем побрела в заросли, где столкнулась с Лемони, искавшей сверчков.

Пелагия присела на камень и стала наблюдать, как девочка перебегает по кустарнику, хватая пухлыми пальчиками пустоту, – сверчки были неуловимы.

– Тебе сколько лет, корициму? – внезапно спросила Пелагия.

– Шесть, – ответила Лемони. – Ровно. А после следующего праздника мне будет семь.

– А ты уже умеешь считать до десяти?

– Я умею до тридцати, – сказала Лемони и тут же принялась показывать: – ... двадцать один, двадцать два, двадцать тридцать.

Пелагия вздохнула. Не пройдет и двух праздников, как Лемони загрузят работой по дому, и закончится охота за маленькими существами в зарослях. Придется втягиваться в однообразное ублажение мужчин, а обсуждать важные темы с другими женщинами можно будет только, когда мужчины не слушают или сидят в кофейне, играя в триктрак, в то время как должны работать. Свободы для Лемони не будет до самого вдовства – как раз до того времени, когда общество отвернется от нее, будто она не имеет права пережить мужа, будто он умер только по небрежности собственной жены. Вот почему лучше иметь сыновей – это единственная страховка от ужасающей старости в нужде. Пелагия желала Лемони, чтобы у нее сложилось как-нибудь получше, будто для самой себя желать лучшего бесполезно.

Внезапно Лемони завопила, спугнув задумчивость Пелагии. Точно кошка замяукала. Из глаз Лемони полились слезы: она сжимала согнутый пополам указательный палец и раскачивалась взад-вперед. Пелагия подбежала и разогнула

девочкину ладонь:

– Что случилось, корициму? Кто тебя обидел?

– Он укусил, он укусил меня! – плакала Лемони.

– Ой, бедная, бедная! Разве ты не знала, что они кусаются? – Она приложила к губам пальчики, покачала. – У них большие челюсти с кусачками. Сейчас пройдет.

Лемони снова зажала палец.

– Жжет.

– А если бы ты была сверчком, разве бы ты не кусала тех, кто тебя ловит? Сверчок подумал, что ты хочешь сделать ему больно, вот и укусил тебя. Вот как получается. Когда повзрослеешь, поймешь, что и у людей точно так же.

Пелагия сделала вид, что произносит особое заклинание, исцеляющее укусы сверчков, и проводила успокоенную Лемони в деревню. Мандраса все не было; вокруг стояла непривычная тишина, и народ еле передвигал ноги, нянча свое похмелье и необъяснимые синяки. В отдалении нелепо кричал осел, получая в ответ нестройный хор «Ай гамису!»⁵⁵ из темных внутренностей домов. Пелагия принялась готовить ужин, радуясь, что это будет не рыба. Позже, когда она сидела с отцом после его обычной прогулки, он совершенно неожиданно сказал:

– Думаю, он не пришел потому, что ему плохо, как и всем.

Пелагию переполнила благодарность, она взяла отцовскую ладонь и поцеловала. Доктор сжал ей руку и печально

⁵⁵ Да пошел ты! (греч.).

произнес:

– Не знаю, как я справлюсь, когда ты уйдешь.

– Папакис, он попросил меня выйти за него... Я сказала, что нужно у тебя спросить.

– Я-то не хочу за него выходить, – ответил доктор Яннис. – Думаю, будет гораздо лучше, если он женится на тебе. – Он снова пожал ее руку. – У нас на одном корабле было несколько арабов. Они все время говорили «иншалла», после каждой фразы. «Я завтра это сделаю, иншалла». Это очень раздражало – они вроде как ждали, что Бог выполнит то, что они должны побеспокоиться и сделать сами, но что-то в этом есть. Ты выйдешь за Мандраса, если так угодно провидению.

– Он тебе не нравится, папакис?

Доктор повернулся и ласково взглянул на нее:

– Он очень молодой. Все очень молоды, когда женятся. И я был молод. К тому же, я оказал тебе плохую услугу. Ты знакома с поэзией Кавафиса, я учил тебя говорить на «катаревуса»⁵⁶ и итальянском. Он не ровня тебе, но ведь ему захочется быть лучше своей жены. В конце концов, он мужчина. Я часто думаю, что ты могла бы стать счастлива в замужестве только с иностранцем – с каким-нибудь норвежским дантистом, или еще с кем-то.

Пелагия засмеялась: такое трудно себе представить, – и наступило молчание.

– Он называет меня «сьора», – сказала она.

⁵⁶ Греческий диалект.

– Вот чего-то вроде этого я и боялся. – Повисла долгая пауза, оба смотрели на звезды над горой, а затем доктор Яннис спросил: – Ты никогда не думала, что нам следовало бы уехать? В Америку, в Канаду или еще куда-нибудь?

Пелагия закрыла глаза и вздохнула.

– Мандрас, – сказала она.

– Да. Мандрас. И это наш дом. Другого нет. В Торонто, возможно, идет снег, и в Голливуде никто не предложит нам роли. – Доктор поднялся и вошел в дом; вернувшись, он держал в руках что-то металлически блеснувшее в полумраке. Очень торжественно он вручил это дочери. Она приняла, увидела, что это, почувствовала зловещую тяжесть и выронила в подол платья, вскрикнув от испуга.

Доктор остался стоять.

– Будет война. В войнах случаются ужасные вещи. Особенно с женщинами. Воспользуйся им, чтобы защитить себя, а будет нужно – и примени для себя. Можешь применить и для меня, если того потребуют обстоятельства. Это всего лишь маленький пистолет «дерринджер», но... – Он махнул рукой в сторону горизонта: – ... ужасная тьма опустилась на мир, и каждый из нас должен делать, что может, только и всего. Может быть, ты не знаешь, коррициму, но возможно, случится так, что твоему замужеству придется подождать. Мы должны прежде удостовериться, что Муссолини сам не пригласит себя на свадьбу.

Доктор повернулся и вошел в дом, а Пелагия осталась в

крайне нежелательном одиночестве со страхом, растущим в груди. Она припомнила, что в горах Сули шестьдесят женщин поднялись на одну из вершин, станцевали вместе и бросились с детьми в пропасть, чтобы не сдаваться в рабство туркам. Через некоторое время она вошла в комнату, положила пистолет под подушку и присела на край кровати, рассеянно поглаживая Кискису и снова представляя, что Мандрас умер.

На второй день после праздника Пелагия повторила тот же медленный танец бесцельных занятий, которые не могли перевесить тяжесть отсутствия ее любимого, но все-таки служили какой-то поддержкой. Всё – деревья, игравшая Лемони, козленок, шалости Кискисы, отец Арсений, самодовольно и нескладно ковылявший вперевалку по дороге, отдаленный стук молотка Стаматиса, мастерившего деревянную седелку для ослицы, Коколис, хрипло исполнявший «Интернационал», пропуская половину слов, – все было лишь знаком того, чего недоставало ей. Мир уступил место покрову безнадёжности и уныния, которые, казалось, стали неотъемлемыми свойствами вещей; даже барашек с розмарином и чесноком, приготовленный ею к обеду, олицетворял лишь горькое отсутствие рыбы. Той ночью она была слишком измучена, удручена, и перед сном не могла даже плакать. Во сне она обвиняла Мандраса в жестокости, а он посмеялся над нею, как сатир, и умчался в танце по волнам.

На третий день Пелагия пошла к морю. Она сидела на

камне и смотрела, как огромный военный корабль, зловеще дымя, отплывает на запад. Скорее всего, английский. Она размышляла о войне и чувствовала, как тяжело становится на сердце при мысли о том, что в древности люди были игрушкой богов, да и потом не продвинулись дальше, оставшись забавой других людей, считающих, что сами они – боги. Она играла благозвучием слов – «Гитлер, Аттила, Калигула. Гитлер, Аттила, Калигула». У нее не находилось слова, подходящего к «Муссолини», пока не возникло «Метаксас». «Муссолини, Метаксас», – произнесла она и добавила: «Мандрас».

Как бы в ответ на свои мысли краем глаза она уловила движение. Внизу слева какое-то тело, похожее на человека-дельфина, ныряло в волнах. Она рассматривала загорелого рыбака с чисто эстетическим наслаждением, пока, слегка растерявшись, не поняла, что он совершенно голый. До него было метров сто, и она догадалась, что он приспособливает мелкочейстую сеть с поплавками для ловли сига. Он надолго занырявал, укладывая сеть полумесяцем, а вокруг него кружили и бросались за своей долей улова чайки. Без всяких угрызений Пелагия коварно подкралась ближе, чтобы полюбоваться человеком – таким гладким, так заодно с морем, таким подобным рыбе, человеком голым и диким, человеком, похожим на Адама.

Она смотрела, как свернута сеть на мелководье, и когда он, искрящийся, стоя на отмели, тащил ее, перехватывая ру-

ками с напрягшимися мускулами, ритмично двигая плечами, она поняла, что это Мандрас. Она прижала руку ко рту, сдерживая потрясение и внезапно накативший стыд, но не уползла. Ее по-прежнему приковывала его красота, гармония и сила, и она не могла отказаться от мысли, что Бог подарил ей возможность сначала осмотреть то, чем она завладеет: стройные бедра, острые плечи, упругий живот, темную тень паха с его таинственной лепниной – предмет столь похотливой женской болтовни у колодца. Мандрас слишком молод, чтобы быть Посейдоном, в нем совсем нет злобы. Так может, он – морская нимфа мужского пола? А бывают вообще nereиды и потамиды мужского пола? Не следует ли принести в жертву мед, масло, молоко или козленка? Или себя? Видя, как Мандрас скользит в воде, трудно было не поверить, что подобное создание проживет, по словам Плутарха, 9720 лет. Но такое видение Мандраса казалось вечным, и назначенный Плутархом срок жизни был слишком произволен и слишком мал. Пелагии пришло в голову, что такие же сцены, наверное, поколение за поколением происходили с микенских времен; возможно, и во времена Одиссея были девушки, подобные ей, что приходили к морю подглядывать за наготой тех, кого любили. Она поежилась при мысли о таком слиянии с историей.

Мандрас смотал сеть и нагнулся, вытаскивая из ячеек маленьких рыбин, бросая их в ведра, выстроенные на песке в аккуратный ряд. Серебристые рыбы сверкали на солнце, как

новые ножи, и удушье их превращалось в красивый спектакль, когда они трепыхались, подпрыгивали и умирали. Пелагия заметила, что плечи Мандраса обгорели и шелушатся, а не задубели под солнцем, хотя и были открыты целое лето. Она удивилась и даже огорчилась: значит, красивый мальчик – всего лишь из плоти, а не из вечного золота.

Он выпрямился, сунул в рот два пальца и свистнул. Пелагия увидела, что он смотрит в море и медленно размахивает руками над головой, подавая кому-то сигналы. Тщетно пыталась она разглядеть, кому именно. Озадаченная, она приподняла голову над камнем, за которым пряталась, и мельком увидела три темные тени, что согласованно выгибались в волнах ему навстречу. Она услышала его радостный крик: теперь Мандрас брел к ним по воде с тремя рыбинами в руках. Вот он подбросил их высоко в воздух, и три дельфина выпрыгнули, изогнув спины, чтобы поймать рыбу. Она увидела, как юноша схватился за спинной плавник одного животного и унесся в море.

Пелагия бегом спустилась к воде, сморщилась, отчаянно пытаясь прикрыться от искрящихся и мельтешащих солнечных бликов воды, но ничего не увидела. Наверняка Мандрас утонул. Неожиданно она вспомнила, что увидеть нимфу голой сулит ужасное несчастье – вызывает исступление. Что же происходит? Кусая губы, она заламывала руки, в тревоге прижимала их к груди. Солнце жгло так, будто мстило за что-то. Пометавшись немного по берегу, она повернулась и

побежала домой.

В своей комнате она обхватила Кискису и зарыдала. Мандрас утонул, он ушел с дельфинами, он никогда не вернется – это конец всему. Она жаловалась кунице на несправедливость и тщету жизни и уже покорилась шершавому язычку, смаковавшему соль ее слез, когда в дверь робко постучали.

Мандрас стоял с ведром сига в руке и неуверенно улыбался. Переминаясь с ноги на ногу, он торопливо заговорил:

– Прости, что не пришел раньше, просто я весь день хворал после праздника, понимаешь, это все вино, и мне нездоровилось, а вчера пришлось съездить в Аргостоли получить призывные документы, мне нужно отправляться на материк послезавтра, и я поговорил в кофейне с твоим отцом, он дал согласие, а я принес тебе рыбы. Вот, это сиг.

Пелагия, сидя на краю кровати, вся онемела внутри – слишком много счастья, слишком много отчаяния. Она официально помолвлена с мужчиной, который собирался побороться с судьбой, мужчиной, который должен был утонуть в море, мужчиной, который перемешал женитьбу с войной и сигом, мужчиной, который был мальчиком, игравшим с дельфинами, слишком прекрасным, чтобы идти умирать в снега Чамурии. Казалось, он вдруг стал порождением сна, пугающе и бесконечно хрупким, слишком изысканным и эфемерным для человека. У нее затряслись руки.

– Не уходи, не уходи, – умоляла она, вспомнив, что это

сулит несчастье – увидеть нимфу голой; вызывает исступление, а порою – и смерть.

14. Грацци

В моей жизни было много такого, о чем стоило сожалеть, и я думаю, любой человек скажет о себе то же самое. Не то чтобы я сожалел о мелочах, детских шалостях, вроде прекословия отцу или флирта с чужой женой. Сожалею я о том, что мне пришлось получить самый горький урок того, как личные амбиции могут заставить человека, против его воли и природы, сыграть роль в событиях, которые покроют его позором и презрением истории.

У меня была очень хорошая работа; служить итальянским посланником в Афинах было приятно по той простой причине, что ни полковник Мондини, ни я до начала войны и представления не имели, что она вообще начнется. Можно было предположить, что или Чиано, или Бадольо, или Содду сказали бы нам об этом; можно было надеяться, что они дали бы нам месяц-другой на подготовку, но нет – они позволили нам вести дела по-прежнему, с обычной шутливостью дипломатии. Меня приводит в бешенство то, что я посещал приемы, ходил на спектакли, организовывал совместные проекты с министром просвещения, уверял своих греческих друзей, что у Дуче нет враждебных намерений, говорил итальянской общине, что нет необходимости паковать вещи, а затем обнаружил: никто не побеспокоился сказать мне, что происходит, и у меня самого нет времени на сборы.

Я располагал лишь нескончаемыми слухами и шутками. По крайней мере, я считал их шутками. Курцио Малапарте, этот спесивый идиот и ироничный сноб с извращенным чувством юмора и вожделием войны, что подкрепляло его журналистскую писанину, пришел ко мне и сказал: «Мой дорогой друг, граф Чиано просил передать вам, что вы можете делать все, что вам угодно, потому что он все равно собирается пойти войной на Грецию и в ближайшее время ввести албанцев Джакомони на греческую территорию». Он сказал это, кривляясь и насмешничая, — этот какаду скажет что угодно, каким бы нелепым, лживым и нелогичным оно ни было, лишь бы показать, что он личный друг Чиано. И я воспринял его слова как шутку.

И еще один момент я должен отметить — когда Мондини вызвали на аэродром для встречи офицера разведки, который сообщил ему, что война начнется не позже чем через три дня и Болгария предпримет вторжение в те же сроки. Он сказал Мондини, что все греческие должностные лица подкуплены. Естественно, я телеграфировал в Рим и переговорил с болгарским послом. Рим не ответил, а болгарский посол заявил мне (как оказалось, справедливо), что у Болгарии нет каких-либо намерений объявлять войну. Я успокоился, но теперь думаю, что Чиано и Дуче просто старались сбить меня с толку и сохранить возможность выбора. Вероятно, они старались сбить с толку и друг друга. Мы сидели с полковником Мондини у меня в кабинете, подавленные настолько,

насколько вообще можно себе представить, и обсуждали, не вернуться ли нам вновь к гражданской жизни.

Все становилось еще непонятнее. Например, Рим просил прислать сотрудника нашей дипломатической миссии для получения «срочных конфиденциальных указаний», но у «*Ala Littoria*»⁵⁷ не было ни одного авиарейса, так что поехать никто не мог. Затем телеграфировали из *Palazzo Chigi*⁵⁸, что специальным самолетом прибывает курьер, однако, кем бы он ни был, он не прилетел. Все в дипломатической миссии в Афинах заявляли мне о необходимости предпринять что-то для предотвращения войны, а я мог лишь краснеть и заикаться, потому что находился в уязвимом положении посла, который не имеет ни малейшего представления о том, что происходит. Муссолини и Чиано нанесли мне оскорбление – я никогда не прощу того, что они вынудили меня полагаться на пропаганду агентства «Стефани» как на единственный источник информации. Информации? Все это было ложью, и даже греки знали о надвигавшемся вторжении больше, чем я.

Происходило следующее. Греческий национальный театр дал специальное представление «Мадам Баттерфляй», гостями правительства пригласили сына Пуччини с женой. Красивый жест, благородный и типично греческий, а мы разослали приглашения на прием – на вечер 26 октября, после полуно-

⁵⁷ Итальянская авиакомпания.

⁵⁸ Резиденция Чиги (*ит.*).

чи. Приемы после полуночи – греческий обычай, к которому, должен признаться, я никак не мог приспособиться.

Метаксас и король не пришли, но все равно вечер прошел чудесно. У нас был огромный *gateau*⁵⁹ с надписью сахарной глазурью «Да здравствует Греция», столы покрывали сплетенные греческие и итальянские флажки, что символизировало нашу дружбу. Присутствовали поэты, драматурги, профессора, интеллигенция, а также представители общественности и дипломатической миссии. Мондини выглядел прекрасно – при полном параде, в орденах, но я заметил: когда хлынул поток телеграмм из Рима, он начал бледнеть и явно съеживаться под своим кителем, пока не стало казаться, будто он отрекается от него или взял у кого-то поносить.

Ситуация была ужасной. Те, кто приносил телеграммы, делали вид, что они – гости, и пока я читал их одну за другой, душа у меня уходила в пятки. Приходилось вести светские беседы, а меня неуклонно затопляла волна ужаса и отвращения. Я испытывал стыд за свое правительство, гнев от того, что меня держали в неведении, чувствовал растерянность перед своими греческими друзьями; снова и снова в голове звучал один и тот же вопрос: «Разве они не понимают, что такое война?» Один писатель спросил меня, хорошо ли я себя чувствую, потому что я сильно побледнел и руки у меня дрожали. Я переводил взгляд с одного лица на другое и видел, что все в нашей дипломатической миссии испыты-

⁵⁹ Торт (*фр.*).

вают то же самое; мы были псами, услышавшими команду кусать руку, что кормила нас.

Первая часть ультиматума Дуче поступила последней, и я точно не представлял того, что стало известно к пяти часам утра. Я был усталым и разбитым, и даже не знаю, почувствовал облегчение или боль, получив указание не доставлять ультиматум раньше 3 часов ночи 28-го и ждать ответа до 6 утра. Похоже, «недремлющий диктатор» (который, насколько я знаю, обычно спал весьма прилично) был полон решимости не только развязать хаос, но и не дать нам выспаться.

27-го начальник греческого Генерального штаба вызвал Мондини и заявил, что Греция не имеет никакого отношения к инцидентам на границе и взрыву в Санта-Кваранта. Мондини вернулся очень подавленным и рассказал мне, как Папагос унизил его, задав единственный уместный вопрос: «Каким чудом вам стало известно, что это сделали мы, когда никто не знает, кто это был, и никого не задержали?» Мондини старался успокоить его, сказав, что, возможно, это были британцы, на что Папагос рассмеялся и ответил: «Полагаю, вам известно, что каждый метр границы охраняется греческими патриотами, которые будут сражаться до последней капли крови?» Мондини, как и меня, терзали стыд и беспомощность, Бадольо не информировал его. Позже Бадольо говорил мне, что он сам не был информирован, несмотря на то что являлся начальником нашего Генерального штаба. Бы-

ла ли еще где-нибудь подобная война, о начале которой не знал главнокомандующий? Мы с Мондини снова обсудили прошение об отставке, а тем временем на улице афиняне занимались своими обычными шумными делами. Стоял прекрасный, теплый, по-осеннему чудесный день, а мы оба знали, что скоро эти красота и покой будут разорваны сиренами и бомбами; просто кощунственно, отвратительно думать об этом.

Мы начали принимать делегатов от итальянской общины в Афинах с пепельно-серыми лицами – они опасались гибели и гонений в случае войны. Мне приходилось лгать им всем, я отсылал их прочь, а сердце мое обливалось кровью. Как выяснилось, греки благородно пытались их эвакуировать, но в Салониках их по ошибке разбомбила наша авиация.

Встреча с Метаксасом стала самым болезненным событием моей жизни; позже меня репатриировали, но я не виделся с Чиано до 8 ноября. Понимаете, кампания уже потерпела фиаско, и Чиано не хотел, чтобы я говорил ему: «Я же предупреждал». На самом деле ему вообще не хотелось встречаться со мной, и он все время перебивал меня, перескакивал с одной темы на другую. При мне он позвонил Дуче и передал, что я сказал ему то, чего я не говорил, а затем поведал мне, что албанская кампания будет закончена в две недели. Позже, когда я поднял шум по поводу этого дела, он подослал ко мне Анфузо с предложением уйти в отпуск. Я полагаю, это было концом моей карьеры.

Вы хотите узнать о моей встрече с Метаксасом? Разве об этом недостаточно известно? Мне бы не хотелось об этом много говорить. Понимаете, я восхищался Метаксасом, мы в самом деле были друзьями. Нет, это неправда, что Метаксас просто сказал «нет». Ладно, так и быть – расскажу.

У нас был шофер-грек, не помню его имени, но мы отправили его домой, поэтому на виллу Кифисия нас отвез Мондини. Переводить поехал де Санто, хотя этого не требовалось. Мы отбыли в 2.30 ночи; звезды, как алмазы, сияли над нами, и было так тепло, что я даже не застегивал пальто. Мы прибыли на виллу – скромное местечко на окраине – около 2.45; начальник караула перепутал – должно быть, принял наш итальянский триколор за французский и доложил по телефону Метаксасу, что его просит принять французский посол. В других обстоятельствах это было бы смешно.

Ожидая, я прислушивался к шороху сосен и старался разглядеть сову, ухавшую где-то на дереве. Мне было нехорошо. Метаксас сам вышел к служебному входу. Знаете, он был очень болен, съезжившийся и трогательный, он казался маленьким буржуа, вышедшим забрать газету или позвать кошку. Одет в спальный халат с узором из белых цветов. Как-то ожидаешь, что ночной наряд знаменитости будет достойнее. Он прищурился, вглядываясь в мое лицо, увидел, что это я, и радостно воскликнул: «*Ah, monsieur le ministre, comment allez-vous?*»⁶⁰ Не помню, что я ответил, но я понимал, что

⁶⁰ А, господин посланник, как поживаете? (*фр.*)

предполагает Метаксас – я пришел с поцелуем Иуды. Он уже умирал – думаю, вы знаете об этом, – и груз на его душе был, вероятно, невообразимо тяжел.

Мы вошли в небольшую гостиную, заполненную дешевой мебелью и мелкими безделушками, которые, похоже, обожают каждый грек среднего сословия. Понимаете, Метаксас был честным политиком. Его никогда не обвиняли в продажности даже его враги, даже коммунисты, и, судя по дому, было очевидно, что государственные фонды никогда не способствовали его украшению. Не могло быть человека, более отличавшегося от Дуче.

Он усадил меня в кожаное кресло. Позже я слышал, что вдова Метаксаса никому не позволяла сидеть в нем. Сам он сел на кушетку, обтянутую кретоном. Говорили мы только по-французски. Я сказал, что получил указание моего правительства вручить срочную ноту. Он взял ее, прочитал очень медленно, еще и еще раз, как будто она была невероятной по своей сути. Потом прищелкнул языком – обычно греки так говорят «нет» – и покачал головой.

В ноте говорилось, что Греция открыто встала на сторону британцев, нарушила обязанности нейтралитета, провоцировала Албанию... Завершалась нота словами, которых я никогда не забуду:

«Все это Италией дальше допускаться не может. Итальянское правительство решило, таким образом, просить Греческое правительство, в качестве гарантии Греческого нейтра-

литета и безопасности Италии, о позволении оккупировать некоторые стратегические районы Греческой территории на период существующего конфликта с Великобританией. Итальянское правительство просит Греческое правительство не противодействовать данной оккупации и не чинить препятствий свободному продвижению войск, выполняющих эту задачу. Эти войска приходят не как враг Греческого народа, и оккупацией нескольких стратегических точек, продиктованной непредвиденной и чисто оборонительной необходимостью, Итальянское правительство никоим образом не намерено наносить ущерб суверенитету и независимости Греции. Итальянское правительство просит Греческое правительство немедленно отдать приказы, необходимые для возможности проведения данной оккупации мирным путем. В случае если Итальянские войска встретят сопротивление, такое будет подавлено силой оружия, а Греческое правительство должно будет принять на себя ответственность за дальнейшие последствия».

У Метаксаса запотели очки, и за ними блеснули слезы. Тяжело было видеть властного человека, диктатора, доведенного до такого состояния. Руки у него подрагивали; он был твердым, но горячим человеком. Я сидел напротив, уперев локти в колени. Мне было горько и стыдно от безрассудства и несправедливости этой выходки, в которую я впутался. Мне тоже хотелось заплакать. Он взглянул на меня и сказал:

– *Alors, c'est la guerre*⁶¹. – Так что видите, он не сказал «okhi», как полагают греки, это было не просто «нет», но означало то же самое. В словах его звучали та же решимость, то же достоинство, та же самая окончательность.

– *Mais non*⁶², – сказал я, понимая, что лгу, – вы можете принять ультиматум. У вас есть три часа.

Метаксас почти сочувственно приподнял брови – он понимал, что на бесчестье я не гожусь, и ответил:

– *Il est impossible*⁶³. За три часа невозможно разбудить короля, вызвать Папагоса и разослать приказы на все заставы на границе. На многих нет телефонов.

– *Il est possible, neanmoins*⁶⁴, – настаивал я, а он покачал головой.

– Какие стратегические районы вы хотите оккупировать? – Он саркастически выделил слово «стратегические». Я в растерянности пожал плечами и произнес:

– *Je ne sais pas. Je suis desole*.⁶⁵

Он снова взглянул на меня, и на этот раз какое-то веселье проскользнуло в его глазах.

– *Alors, vous voyez, c'est la guerre*.⁶⁶

⁶¹ Итак, это война (*фр.*).

⁶² Да нет же (*фр.*).

⁶³ Это невозможно (*фр.*).

⁶⁴ Тем не менее, это возможно (*фр.*).

⁶⁵ Не знаю. Мне очень жаль (*фр.*).

⁶⁶ Итак, вы понимаете, это война (*фр.*).

– *Mais non*, – повторил я и сказал, что буду ждать до 6 утра его окончательного ответа. Он проводил меня до дверей. Он понимал, что мы намерены оккупировать всю Грецию, что бы он ни ответил, и знал, что если начнет воевать с нами, то закончит тем, что придется воевать с немцами.

– *Vous etes les plus forts*, – сказал он, – *mais c'est une question d'honneur*⁶⁷.

Тогда я видел Метаксаса в последний раз. Он умер 29 января от флегмоны глотки, перешедшей в абсцесс и приведшей к заражению крови. Он умер, желая, чтобы англичане прислали пять дивизий бронетехники, но даже без них он сумел превратить наш блицкриг в позорное отступление.

Я оставил этого маленького человека в цветастом халате, смешного в глазах большей части мира, маленького человека, проклятого своей непутевой и непреклонной дочерью, никем не избранного, но выразившего мнение всего народа Греции. Это был высший час Греции и час позора моей страны. Метаксас заслужил свое место в истории среди освободителей, цезарей и королей, а я был унижен, и мне было стыдно.

Ну вот, я рассказал вам, как все это было. Надеюсь, вы удовлетворены.

⁶⁷ Вы – большая сила... но это вопрос чести (*фр.*).

15. L'omosessuale (4)

Мы не доложили полковнику Риволта о возвращении, поскольку не имели такого указания. Предполагалось, что нас убьют. А официальные донесения были полны сообщений об «инцидентах на границе», совершенных греками – «лакеями англичан». Армия мрачно негодовала, и все, кроме Франческо и меня, рвались с поводка. Мы же вели себя тихо. Просто чудо, что нам дали пулемет, который не заклинило после первого же выстрела.

Но мы часто разговаривали друг с другом, и соучастие в преступлении усиливало нашу отчужденность от остальных. Ужасно – мы чувствовали себя предателями задолго до того, как это чувство стало основным в душе каждого солдата в горах Эпира. Мы получили медали за то, что сделали, но нам приказали их не носить. И не говорить никому, что мы их заслужили. Нас обманом сделали соучастниками убийства, и мы так или иначе не надели бы их. Мы с Франческо заключили договор, что когда-нибудь кто-то из нас всадит пулю в мозги полковника Риволта.

Я хотел дезертировать, но не желал покидать своего прекрасного возлюбленного. Во всяком случае, это было физически невозможно – пришлось бы переходить через горные цепи и необитаемые пустыни. Пришлось бы искать способ переправиться через море в Италию. А потом что? Арест?

Единственный путь, который я серьезно рассматривал, – переход через границу в Грецию. Я стал бы первым из многих итальянских солдат, кто вступил в антифашистский союз.

События опередили мои планы. Очевидно, наш неподвиженный успех кого-то впечатлил, потому что нас с Франческо временно отозвали из подразделения и послали в сверхсекретный лагерь подготовки близ Тираны. Мы прибыли туда, снова проделав большую часть пути пешком, ожидая, что нас будут готовить для диверсионных операций. Признаюсь, нас обоих увлекала эта перспектива – как и любого молодого человека на нашем месте.

Можете представить, как мы испугались и не поверили, когда неожиданно выяснилось, что мы сами – инструкторы. Представьте, что мы почувствовали, когда нам велели обучить сто пятьдесят албанцев искусству подрывной деятельности. Можете представить, как нам стало весело, когда мы с горя напились и обсудили свое положение. Как это могло с нами случиться? Мы провели одну операцию, а нас уже считали специалистами. Албанцы же были невероятно жестокими балканскими бандитами, и ни один из них ни слова не знал по-итальянски. И мы не говорили по-албански. И на их подготовку нам дали около недели.

Программа находилась под контролем самого Джакомо-ни, и мы теперь стали частью официального заговора по организации «греческих» инцидентов, которые дали бы Дуче убедительный предлог для объявления войны. Вот настоль-

ко все было цинично. Разумеется, Дуче полагал, что захват Греции пройдет легко и обеспечит его тем, что можно противопоставить блицкригу Адольфа Гитлера.

Все будущие албанские диверсанты оказались жирными; похоже было, у всех растут громадные усы, все пьяницы, все готовы убивать, все распутные, прожорливые, неспособные к работе и бесчестные. Номинально они были мусульманами, а это означало перерывы на молитвы в неудобное время, но мы с Франческо быстро пришли к заключению, что они преуспели в том, чтобы никакие религиозные или человеческие чувства их не коснулись.

Мы проводили марш-броски, но до конца добирались только мы с Франческо. Мы учили их стрелять из пулемета короткими очередями, но они выпускали всю ленту сразу, и стволы вело от перегрева. Мы обучали их единоборству без оружия и видели наставленные на нас ножи, как только выяснялось, что побеждаем мы. Мы учили их выживанию, но обнаруживалось, что среди ночи они удирали слоняться по тавернам. Мы учили, как выводить из строя телеграфные столбы и телефонные станции, и одного убило электротоком через член, когда он помочился на трансформатор. Мы учили, как уничтожать дозорные башни, и заставили одну построить, а они потом отказались ее разрушать, потому что устанавливать ее было трудно. Мы учили их, как подстрекать местное население к бунту, а местное население бунтовало только против наших албанцев. Единственное, чему

мы успешно их научили: как проводить теракты против генералов и вызывать смятение, открывая огонь в тылу противника; они доказали это, застрелив одного из лагерных часовых и обстреляв бордель с намерением ограбить сводней. В конце подготовки этим диверсантам были выплачены очень большие суммы наличными, и их выпустили на греческую территорию, чтобы начать процесс дестабилизации. Все без исключения скрылись с деньгами, и о них больше никогда не слышали. Мы с Франческо получили еще по медали за наш «выдающийся вклад», и нас отправили обратно в часть.

Происходило и еще кое-что. Один из наших самолетов сбросил на нас «греческие» листовки, подстрекавшие албанцев к восстанию против нас и присоединению к англичанам. Мы почти сразу определили, что самолет наш, но некоторые самые тупые солдаты не могли сообразить, почему мы подбиваем своих на нарушение долга. Все больше наших передовых частей подвергалось нападению наших же солдат, переодетых греками; стреляли наугад в нескольких албанцев, дабы они убедились, что мы необходимы им для их же защиты. Вообще-то некоторые албанцы стреляли и в нас, но мы заявляли, что это были греки. Генерал-губернатор организовал взрыв собственной резиденции, так что Дуче мог окончательно и бесповоротно объявлять войну. Он это и сделал – вскоре после того, как приказал провести демобилизацию, поэтому у нас осталось очень мало войск и никакой надежды на подкрепление.

Я представил все так, будто это смешно, но на самом деле все было безумием. Нам говорили, что греки деморализованы и подкуплены, что они будут дезертировать, чтобы сражаться на нашей стороне, что война будет блицкригом и закончится мгновенно, что Северная Греция полна недовольных ирредентистов, желающих союза с Албанией, но нам хотелось одного – отправиться домой. А мне – лишь любить Франческо.

Нас послали умирать без транспорта, без снаряжения, без танков, достойных называться танками; авиация в основном базировалась в Бельгии, войск не хватало, а офицеров чином выше полковника, понимавших что-нибудь в тактике, не было вообще. Наш командующий отказался от подкрепления, потому что почетнее одержать победу малыми силами. Еще один идиот. А я не дезертировал. Вероятно, мы все были идиотами.

Неизмеримые горечь и усталость наполняют меня, когда я описываю эту кампанию. Здесь, на этом солнечном, уединенном острове Кефалония, с его сердечными жителями, с его горшками базилика, многое из происшедшего кажется невообразимым. Здесь, на Кефалонии, я нежусь на солнышке и наблюдаю за состязаниями в танцах между жителями Ликзури и Аргостоли. Здесь, на Кефалонии, я заполняю свои сны мечтами о капитане Антонио Корелли – полном радости человеке, что думает лишь о мандолинах; сложно представить себе мужчину более не похожего на ушедшего и любя-

мого Франческо, но его я люблю так же сильно.

Как чудесно было на войне! Как мы насвистывали и пели, неистово готовясь к выступлению, как сновали взад-вперед, подобно пчелам, курьеры на мотоциклах, как взбадривало пересечение границы без сопротивления, как лестно было чувствовать себя новыми легионерами новой империи, которая простоит десять тысяч лет. Как приятно было думать, что скоро наши немецкие союзники услышат о победах, что равны их победам. Какая сила копилась в нас, когда мы хвастались своим участием в знаменитом «Стальном пакте». Я шел рядом с Франческо, глядя на взмахи его рук и прозрачные капельки пота, сбегавшие по его щекам. Время от времени он посматривал на меня и улыбался. «Афины – через две недели», – говорил он.

Ночь 28-го октября. С пятидневным боезапасом, таща провиант на себе из-за отсутствия мулов, мы отправились на восток по приказу – взять Медзовонский перевал. Как неописуемо легко почувствовали мы себя к вечеру, сбросив со спины поклажу! Как мы спали сном младенцев и какими стертыми и одеревенелыми оказались наши конечности ранним утром! Мы узнали, что подкрепления не будет, потому что море сильно штормило, а англичане топили наши корабли. Мы пели песни о том, как разобьем любого противника. Нас грела мысль, что нами командует сам Праска.

Как чудесно было на войне, пока погода не обратилась против нас. Мы продирались сквозь грязь. Авиация не лета-

ла из-за низкой облачности. Десять тысяч человек промокли до нитки. Наши двадцать тяжелых орудий засели в болоте, а бедные, обруганные и избитые мулы тщетно старались вытащить их. Нас убеждали, что Дуче решился на зимнюю кампанию, чтобы избежать риска малярии, но не обеспечили зимним обмундированием. Посланные с нами албанские части растворились в воздухе. Стало ясно, что болгары не будут воевать на нашей стороне, и греки перебросили подкрепление с болгарской границы. Наши линии снабжения и коммуникации перестали действовать еще до первого выстрела. Греческие солдаты не дезертировали. Моя винтовка стала ржаветь. Мне выдали не те патроны. Мы узнали, что прикрытия с воздуха не будет, а чиновники по ошибке отправили наши грузовики «фиат-666» обратно в Турин. Это не имело значения. Грузовики увязали точно так же, как и орудия. Каблуки, что когда-то так красиво шелкали при отдавании чести, теперь прилипали друг к другу с глухим стуком, и мы начали тосковать по колючей желтой пыли, летевшей 25-го октября. Мы с трудом тащились, убежденные в легкой победе, все еще распевая о том, что будем в Афинах через две недели. Мы еще не сделали ни единого выстрела.

Мы полагали, что греки не оказывают нам сопротивления, потому что их войска слабы и трусливы, и это, несмотря ни на что, взбадривало нас. Никому из нас не приходило в голову, что они предугадали наши действия и перешли к гибкой обороне, чтобы сконцентрировать силы. Мы пробира-

лись под безжалостным дождем по липкой грязи, и мгла клубилась над нами у титанической горы Смоликас, а греки терпеливо ждали.

Как я ненавижу обмотки! Я никогда не мог понять их назначения. Я терпеть не мог наматывать их точно по уставу! Теперь я ненавижу их за то, что они собирали клейкие куски желтой грязи и пропускали в ботинки ледяную воду. Кожа на ступнях побелела и шелушилась. У мулов копыта становились мягкими и расслаивались, но все равно из-под них летела слякоть, залеплявшая нас с головы до ног. Мы с Франческо зашли в один дом, где на стене висели портреты короля Георга и генерала Метаксаса. Забрали дождевик и сухие носки. Там был недоеденный обед, еще теплый, и мы съели его. Потом мы долго гадали, отравлен он или нет, и осторожно ушли. Греков не было, мы побеждали без боя. Мы забыли, как кое-кто из нас выкрикивал антивоенные лозунги фашистам из военной полиции и лупил их, если сталкивался с ними в темном месте.

Мы вышли к реке Сарандапорос, и тут выяснилось, что у нас нет ни средств для сооружения переправы, ни саперов. Поток вздуло, там плавали обломки взорванных мостов и трупы горных коз. Франческо спас мне жизнь, бросившись за мной, когда я потянулся за передаваемой винтовкой, а меня смыло. Впервые он держал меня в объятиях. Нам говорили, что кто-то заметил, как в лесу скрылись греческие части. «Труссы!» – смеялись мы. Адская переправа через реку Са-

рандапорос повторилась у реки Вьоса. «Бог против нас», – сказал Франческо.

Ненавижу обмотки! На высоте тысяча метров вода замерзает. При замерзании она расширяется. Конечно, это нормально и всем известно, но в обмотках эффект удваивается. Лед весит тонны. Лед сужает сосуды, и кровь к ногам не поступает. Их не чувствуешь. Мы тосковали по жалким лацугам, оставшимся в Албании. Мы поняли, что наши тяжелые орудия далеко отстали и, скорее всего, нас не догонят. «Афины – через два месяца», – сказал Франческо, насмешливо дернув уголком рта.

Война чудесна, пока кого-нибудь не убили. 1-го ноября погода улучшилась, и снайпер подстрелил нашего капрала. Из-за деревьев раздался треск, капрал шагнул назад и всплеснул руками. Он крутанулся на одной ноге, наклонившись ко мне, и упал спиной на снег. На лбу у него ярко блестело пятнышко. Солдаты бросились ничком и открыли ответный огонь, пока взвод прочесывал сосняк в поисках врага, который уже исчез. Хлопнул миномет, раздался вой, мина разорвалась среди нас, пронзительный крик несчастного новобранца из Пьемонта, которому шрапнелью оторвало ноги, и ужасная тишина. Я увидел, что покрыт окровавленными кусками человеческого мяса, быстро примерзавшими к одежде. Мы собрали раненых и поняли, что не можем переправить их в тыл. Франческо положил мне руку на плечо и проговорил: «Если меня ранят, прострели мне голову».

Недооцененные греки своими маневрами загоняли нас на позиции, в которых могли окружить и отрезать нас, но видели мы их по-прежнему очень редко. Мы плутали по дорогам и тропинкам в долинах, а греки, как призраки, перепархивали по верхним склонам. Никогда нельзя было знать, когда нас атакуют и откуда. Сейчас казалось, что мины прилетают из нашего тыла, в следующую секунду – что стреляют с флангов или прямо по фронту. Мы вертелись, как уж на сковородке. И стреляли по призракам и горным козам.

Нас поражал героизм невидимых греков. Они поднимались из мертвых зон и обрушивались на нас так, будто мы насиловали их матерей. Это потрясало. На высоте 1289 они навели такой ужас на наших албанцев, что те бежали, стреляя в карабинеров, пытавшихся их остановить. Дезертировало девяносто процентов томорского батальона. Всю линию фронта раскрутило против часовой стрелки вокруг нас, как вокруг оси, отрезав нас от обеих армейских группировок. Никакой поддержки с воздуха. Греческие солдаты в своей английской форме и касках «томми» поливали нас из пулеметов, забрасывали минами и становились невидимыми. «Афины – через два года», – сказал Франческо. Мы были совершенно одни.

Греки взяли Самарини и оказались позади нас. Мы ничего не ели, кроме галет, шелушившихся, как золотушные. Начался падеж лошадей, а мы стали их есть. Маленькие греческие лошадки, слишком упрямые, чтобы умирать, несли на

нас своих всадников. Нам было приказано отступить к Конице, и назад пришлось пробиваться из окружения.

Мы стали безымянными. Обросли огромными бородами, нас похоронило бурями и дождем со снегом, глаза глубоко ввалились, все обмундирование залепило ледяной коркой, руки нам точно изодрали кошки, а пальцы превратились в корявые свинцовые клюшки. У Франческо был такой же вид, как и у меня, а я выглядел, как все; мы жили в каменном веке. За несколько дней мы превратились в скелеты, рывшиеся, как свиньи, в поисках еды.

Наконец-то мы увидели итальянский бомбардировщик. Мы замахали ему, он сделал круг и сбросил бомбу, которая в нас немного не попала, но убила трех наших мулов. Мы отрезали куски мяса и ели их сырыми, а мулы были еще теплыми и шевелились. Рации вышли из строя. Стало ясно, что греки сосредоточивают войска как раз в тех местах, где мы наиболее уязвимы. Они начали по одному отстреливать изолированные подразделения, брали их в плен. «Повезло гадам, – говорил Франческо, – готов спорить, что в Афинах жарко». Ночью мы с ним спали, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Для плотских желаний я был слишком изможден. Все так спали. Я хотел только защитить его.

Нашего командующего сместили и заменили генералом Содду, которого, конечно же, мы прозвали «генерал Содомия». Висконти Праска потерял затем и пост командующего Одиннадцатой армией. Как могущественны падшие! Он был

метеором, который оказался просто-напросто раскаленным пердежом. Все наше командование – сплошной раскаленный пердеж, начиная с Муссолини, который его набирал.

Мы отступали к Конице, как раненый гигант, терзаемый дикими стаями разъяренных собак. То был ад пулеметного и артиллерийского огня, минометов и льда. Местное население охотилось за нами с охотничьими ружьями и рогатками. Прошла целая неделя без еды и отдыха. Бои на расстоянии прямой наводки шли по восемь часов кряду. Мы потеряли сотни товарищей. Горы стали братством мертвецов. Мы продолжали воевать, но пали духом. Великая тьма опустилась на землю. Франческо разговаривал со своим мышонком, даже находясь в засаде или во время внезапного продольного огня, да и мы все уже были на грани безумия. Мы подошли к нашей старой позиции у моста Перати, напрасно пожертвовав пятой частью своего состава. Я огляделся и испытал осязаемый ужас от непоправимого отсутствия людей, которых я полюбил, чье неукротимое мужество никогда и никто не сможет подвергнуть сомнению или легкомысленно оспорить. Война – чудесная штука. В кино и книгах. В небе над нашими головами стали появляться «гладиаторы», «веллингтоны» и «бленхаймы» – англичане таким образом добавили своей силы вонзенным в нас греческим кинжалам и теперь проворачивали их в наших ранах. Генерал Содду приехал с проверкой и сравнил нас с гранитом. «А на Голгофе, – спросил Франческо, – гранит сочится кровью?»

16. Письма Мандрасу на фронт

(1)

Агапетон⁶⁸,

я так давно уже ничего не слышала о тебе, ты не писал с того самого печального дня, когда я проводила тебя из Сами. Я пишу тебе каждый день и начинаю думать, что ты так и не получил моих писем, или твои ответы не дошли до меня из-за войны. Вчера я написала самое лучшее письмо, там совершенно все было сказано, и хочешь верь, хочешь нет, его съел козленок. Я была в ярости и побила его по башке ботинком. Наверное, это была забавная картина, и я знаю, ты бы смеялся, если бы увидел. Каждый раз, когда я что-то вижу, мне хочется, чтобы ты оказался рядом и увидел это сам. Я стараюсь все замечать для тебя, запоминать и фантазирую, что, если напрягусь как следует, смогу передать это тебе, чтобы ты мог все увидеть во сне. Если бы так было в жизни.

Мне так страшно, что от тебя нет писем потому, что тебя ранили или ты попал в плен, а ночью снятся кошмары, что тебя убили. Пожалуйста, пожалуйста, напиши мне, чтобы я снова могла дышать, чтобы сердце у меня успокоилось. Каж-

⁶⁸ Любимый (греч.).

дый день я жду тех, кто возвращается из Аргостоли с почтой для деревни, выбегаю, и каждый день – ничего, и я просто в отчаянии и не знаю, что делать, а в голове все горит от беспокойства. Ну вот, сейчас декабрь, дни стоят очень холодные, солнца нет, дожди почти каждый день, и я представляю, что это небо плачет, как я. Меня знобит, когда подумаю, как же холодно должно быть в горах Эпира. Ты получил носки, что я связала для тебя, рыбацкий свитер и шарф? Правильно, что покрасила их в хаки? Или у меня ума не хватило сделать их белыми? Я надеюсь, что ты получил кофе, кувшинчик с медом и копченое мясо. Бедный мой милый, как тебе, наверное, там холодно, в этом диком месте, так далеко, что это почти чужая страна. Как ты, наверное, скучаешь по своей лодке, по своим дельфинам; а ты понял, что я знала о твоих дельфинах, которых теперь некому кормить рыбой, пока ты не вернешься?

Здесь все то же самое, только начинает всего не хватать. Вчера я не смогла достать керосина для ламп, а на прошлой неделе не было муки, чтобы испечь хлеб. Отец сделал такие лампы с фитилем – он продел его сквозь пробку и пустил плавать в миску с оливковым маслом; он говорит, так в древности делали, но света мало, они сильно чадят и плохо пахнут. Кто бы мог подумать, что можно скучать по керосину?

Все говорят, как тихо и уныло у нас теперь стало, когда ушли все молодые мужчины, и мы гадаем, сколько из них вернется. Мне сказали, что Димоса убили, а жених Мариго

попал в плен. Когда я слышу такое, я благодарю Бога, что это не ты, хотя это ужасно – желать, чтобы несчастье свалилось на других. Если тебя убьют, я не вынесу. Думаю, я сама умру. Я хочу предложить Господу взять меня вместо тебя, только чтобы ты жил. Нам, женщинам, стыдно, что мы не можем принести жертву, сравнимую с вашей, но каждая из нас взяла бы ружье и пошла бы с вами, если б это было возможно и разрешили сделать. Папакис дал мне маленький пистолет, и ночью я кладу его под подушку, а днем ношу в кармане фартука. Если остров захватят, здесь найдутся женщины и старики, которые будут стоять насмерть с метлами и кухонными ножами, – мы уже привыкли делать то, что раньше делали мужчины.

Мы только не сидим в кофейне и не играем в триктрак. Мы часто ходим в церковь, а отец Арсений произнес много чудесных и трогательных проповедей. Он рассказал нам, что икона святого Иоанна сама по себе появилась перед пещерой, где жил Герасим, и это объявили подлинным архитворением. Кажется, даже Господь посылает нам знаки и показывает, что наше дело правое. Кто-то на днях сказал мне, что мы – единственная страна, не считая Британской империи, которая все еще сражается. Когда я думаю об этом, силы прибавляются – ведь это самая большая империя, какая только существовала в мире, а раз так, как же мы можем проиграть? Я часто вижу английские военные корабли – они такие большие, что просто невероятно, как же они плавают. Я

знаю, мы победим.

Вести с фронта такие хорошие, что, кажется, победа нам обеспечена. Каждый день мы слышим, что все больше итальянских частей отогнали или разбили, и нам радостно, как Давиду, поразившему Голиафа. Кто бы мог поверить в это всего два месяца назад? Это казалось невозможным. Мы послали вас сражаться с ними ради чести, без надежды на успех, а теперь мы ждем вас домой как героев-победителей. Вся Греция разрывается от гордости и благодарности нашим мужчинам – великим больше, чем Ахилл и Агамемнон, вместе взятые. Говорят, вы отвоевали всю землю, из-за которой были споры в прошлом, и просто выбросили итальянцев из Албании. Какие вы молодцы, ваши имена будут жить вечно в сердцах греков, и мир навсегда запомнит, что случается, если кто-то посмеет нас обидеть! Мы так гордимся, мой Мандрас, так гордимся! Мы ходим с высоко поднятой головой и помним славное прошлое, которое римляне и турки отобрали у нас, а ты и твои товарищи наконец-то нам вернули. Настанет день, когда мы с Британской империей встанем рядом и скажем миру: «Это мы сделали вас свободными», а американцы, русские и другие понтии пилаты опустят головы, и им станет стыдно, что вся слава досталась нам.

Дух войны здесь всех переменял. Папас, так сильно не любивший Метаксаса, Коколис, а ведь он коммунист, Стаматис, а этот – монархист, – все в один голос провозглашают Метаксаса величайшим греком со времен Перикла и Александра, и

все превозносят военные успехи Папагоса. Они вместе трудятся, собирают посылки для солдат, а отец даже вызвался пойти на фронт врачом. Ему отказали, когда узнали, что он научился всему на кораблях и у него нет свидетельства. Ты бы видел его ярость! Он топал ногами по всему дому, я никогда не слышала, чтобы он произносил слово «хестон»⁶⁹ так часто и с такой злостью. Я рада, что его не пустили, но это несправедливо, потому что даже богатые люди приезжали к нему, а не шли к докторам с дипломами. У него дар исцеления, как у святого, — он только коснется раны, и та начинает заживать.

⁶⁹ Труссы (*греч.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.